

2

1966

# Искажатель

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЖУРНАЛУ  
ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ  СВЕТА

ФАНТАСТИКА ● ПРИКЛЮЧЕНИЯ





# Искажель

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЖУРНАЛУ  
ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ  СВЕТА

## ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ

### СОДЕРЖАНИЕ :

Андрей ДОНАТОВ, Владимир ГОРИК-КЕР — Курьер Кремля . . . . .	3
О. ЛАРИОНОВА — Вахта «Арамиса»	49
Борис ГРОМОВ — Настоящий день рождения . . . . .	105
Ю. ТАРСКИЙ — Дуэль . . . . .	113
Рэй БРЭДБЕРИ — Невидимый мальчик	123
А. КРЫМОВ — Солнечные паруса . .	133
Синклер ЛЬЮИС — Посмертное убийство . . . . .	137

№ **2** (32)

1966  
ШЕСТОЙ  
ГОД  
ИЗДАНИЯ



КОЛЧАК НЕ ПОЛУЧИТ ОРУЖИЯ

РУКИ ПРОЧЬ  
ОТ РОССИИ!

**АНДРЕЙ ДОНАТОВ,  
ВЛАДИМИР ГОРИККЕР**

# курьер кремля

*Киносценарий*

Рисунки В. НЕМУХИНА и  
В. КОВЕНАЦКОГО

**К**то-то тояла осень тысяча девятьсот восемнадцатого. Приближалась годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.

Буржуазные газеты всех мастей и оттенков, не переставая, твердили:

— Советы падут через несколько дней!

— Спасите Россию!

Что же происходит там? Весь мир задавал этот вопрос.

«Там» — это в далекой, непонятной стране, в стране, одетой в лохмотья, стиснувшей зубы, затянувшей пояс.

Газеты, газеты, газеты... Залы, кабинеты, трибуны...

В руках уважаемого оратора газетный лист превращается в бумажный ком:

— Задушить большевистского ублюдка в его колыбели!

Выползает телеграфная лента. Черточки, точки.

Морзянка отстукивает тревогу.

Темнеет громада эскадры. Подтянутый офицер в английском хаки поднимает руку...

— Советы обречены!

...Разворачиваются стволы. Зловещие тени в предрасветном небе. Залп, другой... Горит деревня. Бегут люди.

Кричат газетчики:

— Большевики — грабители и убийцы!

...Раскрыты площадки бронепоезда. У орудий — иностранцы во френчах.

Черные дымы на поле ржи.

Залп. Еще...

Газетчики вопят:

— Большевики — это хладнокровные убийцы! Профессиональные палачи!

...Из Хамовнической казармы тощие лошаденки вы-

возят походные кухни. Их окружают голодные дети. С кастрюлями, котелками, банками тянутся они к красноармейцам, получая горячее варево.

Сухой стрекот пишущей машинки.

«...Англо-французская и американская буржуазная пресса распространяет в миллионах и миллионах экземпляров ложь и клевету про Россию, лицемерно оправдывая свой грабительский поход против нее...» — диктует секретарь.

У окна стоит Михаил Маркович Бородин. Он поглядывает на пыльщики дров во дворе Кремля. Брови сомкнуты. Губы сжаты. Бородин ставит на подоконник стакан с чаем, блюде с ломтиком хлеба. Пристальный, сосредоточенный взгляд возвращается к машинистке.

В руках секретаря — листы, испещренные быстрым ленинским почерком.

Секретарь продолжает диктовать:

— «...Негодяи, которые клеветуют на рабочее правительство, дрожа от страха перед тем сочувствием, с которым относятся к нам рабочие «их» собственных стран!..»

В памяти Бородина возникают слова недавнего разговора с Владимиром Ильичем.

Бородин говорил:

— Там, в Америке... все о нас чудовищно извращено.

Голос Ильича, обычно энергичный, задорный, потускнел, интонации стали жесткими.

— Что же вы предлагаете?

— Я думаю так... письмо американским рабочим.

— А как доставить? Все пути перерезаны... Блокада...

Подлый заговор...

— Я поеду. Попытаюсь прорваться.

— Так... — Ленинский голос умолк. Ильич задумался...

Секретарь кладет на стол рукопись. Машинистка вынимает из каретки последнюю страницу, раскладывает экземпляры.

— ...Желаю вам, дорогой Михаил Маркович, успешно добраться. — Голос Ильича зазвенел, как обычно, стал озорным. — А там — нет сомнения — рабочие нам сочувствуют. Наше рукопожатие будет крепче объятий буржуазии с господином Керенским!..

Секретарь подходит к Бородину, отдает ему законченную работу.

По брусчатке кремлевского двора, уверенно отбрасывая руки, проходит батальон красноармейцев.

Одно за другим мелькают за окном сосредоточенные усталые лица. Винтовки. Шинели. Обмотки.

По сходням вверх движутся крепкие, толстокожие, начищенные армейские ботинки, гладкие краги. Их много. Они

идут деловито, бодро, пружинно. Новенькая, подтянутая форма.

Звуки и команды вырываются из плотного утреннего тумана, закутавшего, словно дымовая завеса, порт, огромный город. Звенят и грохочут, убираясь в клюзы, якорные цепи. Сипло и деловито гудит пароход. Через низкие черные дымы и клубящуюся завесь тумана медленно поворачивается силуэт Нью-Йорка.

Человек, прячущийся в угольной яме корабля, пытается сохранить самообладание. Шляпа, толстый свитер, лицо — в черной едкой пыли...

Соседний отсек — огнедышащая кочегарка. Стучат машины.

С лязгом раскрывается дверца. На миг в угольную яму врывается свет и немного воздуха. Человек отступает в дальний угол, в темноту. Кочегары быстро набирают уголь. И опять захлопнута дверца...

Море. Шторм. Корабль словно падает в пропасть меж волнами.

Спрятавшийся человек будто проваливается в преисподнюю.

Сколько длится эта пытка?

Глоток воды из бутылки... Но вода — теплая и прогорклая — не утоляет жажду. Не хватает воздуха. Человек подползает к дверце машинного отделения.

Кочегары лопатами двигают по желобу уголь. Теперь человек почти не прячется. Он обессилел.

На кренящейся палубе скрипят и стонут грузы. Матросы и военные закрепляют зачехленные орудия, ящики, грузовики, аэропланы.

У дверцы угольной ямы ждет человек... Должны же открыть!

Человек стучит. Но стук его тонет в гуле машин.

Человек подбирается к люку, ведущему в верхний отсек. Задышавшись, пытается приоткрыть крышку. Еще попытка... Пролезает.

Перед ним крутая лестница. В отсеке тоже душно. Качка. Человек хватается за перекладины... Ему удается подползти к иллюминатору в коридоре. Поток света ударяет в глаза. Человек дотягивается до иллюминатора, откручивает винт. Струя ветра обдаёт его. Сильный крен. Под тяжестью тела распахивается дверь каюты. Человек теряет равновесие. Оседает на пол.

— Что такое?! — С дивана испуганно поднимается женщина.

— Воды...

— Боже мой!.. — Женщина подбегает с графином, пытается приподнять его голову. Но ей трудно подойти к лежащему в дверях.

— Где я? Кто вы?.. — Он жадно пьет.

— Вы русский?

Он всматривается в ее черты. Оглядывается. Что было? — Силится вспомнить.

— Вы говорили по-русски... — Пытается помочь ему подняться.

— Не надо... Я сам... — Он приподнялся, силы снова изменяют ему. Она подхватывает его, втаскивает в каюту, закрывает дверь. Внимательно смотрит на «гостя». Обтирает пот и угольную пыль с лица.

— Русский? — переспрашивает она. — На «Джорджии»? Из Америки? Каким образом?

— А вы? — Он уходит от ответа, выигрывая время.

— Пассажирка. А вы... из команды?

— Нет. На корабле, мадам, я «заяц».

— Любопытно.

Хозяйка каюты ловит взгляд его воспаленных глаз. На столе еда.

— «Заяц» хочет есть?.. — Она пытается помочь гостю. — Но у меня нет морковки... Вот... Есть бекон...

— Благодарю...

Принимается за еду.

— ...Итак, должен отвечать... — Он собрался с мыслями. Разглядел свою спасительницу. Перед ним миловидная женщина. Движения ее ладны и ловки.

— Извольте. Возвращаюсь на родину, в Россию.

— Давно не были?

— Двадцать лет... Ну, что еще?.. Да!.. — Он пытается встать. — Инженер Леднев, Петр Иванович.

— Инженер? Сочувствуете революции, — полуутвердительно сказала она.

— А вы? — говорит он с усмешкой.

Она протянула руку. Леднев пожал ее. Ее ладонь становится черной от угольной пыли. Смеются. Идут к умывальнику.

— Не стесняйтесь, Петр Иванович. — Она оставляет его, задернув занавеску туалетной.

— Черт побери!.. Вода!.. — Леднев снимает фуфайку, моется, фыркает. — А как величать вас?..

— Мария Алексеевна... Шапорина...

— Однофамилица генерала?

— Дочь.

— Ого, вот как!

— Что вас удивляет?

Перед Шапориной совсем другой человек. Глаза повеселили. Но усы и борода подчеркивают еще бледное лицо.

— Леднев из угольной ямы и... Мария Шапорина... Шокинг...

— Примета времени. Все смешалось... особенно у нас на родине.

— И все-таки вы едете?

Шапорина помолчала.

— Да, еду... Отец тяжело ранен... Часть семьи осталась в Штатах...

Деликатный стук в дверь.

Леднев отпрянул в сторону, скрылся за занавеской. Шапорина оглядывает каюту. Открывает.

Стюард замечает в совок угольную грязь, оставшуюся у двери каюты.

— Извините, мадам... можно убрать?

— Позже.

Леднев прислушивается.

— Подходим к Бергену. Через полчаса осмотр кают.

— Спасибо... — Шапорина закрывает дверь.

— Сойду в Бергене, — твердо говорит Леднев.

Шапорина понимает, что оставаться ему здесь долее невозможно.

— А у меня пересадка в Копенгагене. В Бергене у вас есть кто-нибудь?

— Ни души.

— Странный!.. Ну вот, если захотите — русское консульство... — Быстро пишет в книжечке, вырывает страницу, отдает Ледневу. — Консул — друг отца. Мне он не очень по душе. Ну, да бог с ним!..

Леднев обескуражен вниманием, предупредительностью, но слова признательности сейчас нелепы.

— Доведется ли встретиться... — она не столько спрашивает, сколько выражает надежду на какую-то далекую возможность. — Знаете что... вот вам еще адреса. — Снова пишет. — Это уже дома... Ну!.. Ни пуха ни пера...

Короткие, низкие гудки.

«Джорджия» входит в порт.

Чистые утренние улицы Бергена. Леднев идет так, словно он ходит по ним ежедневно. Только взгляд исподлобья фиксирует названия улиц, номера домов.

Остановился.

На медной доске «Русское консульство» — двуглавый орел. Корона над орлом подскоблена.

У подъезда спуют люди, много военных.

Группа англичан:

— Уходим?..

— Да, завтра.

— Жаль. Что нас ждет в России?

— Нда-а... Здесь нам было неплохо.

Офицер поправляет фуражку, глядя в медную доску, как в зеркало. Входит в консульство.

Леднев смотрит вслед. Идет за ним.

— Всё? — Русский консул генерал Гетманов уперся злыми глазами в полковника Докутовича.

— Так точно, Пал Васильич. Однако...

— Ну, что еще?

— Настроение англичан несколько... Ну, вы же знаете, они не любят поспешности.

— Плевал я на их настроение! — взорвался Гетманов. — Два-три хлюпика связались с бабьем...

— Союзники, ваше высокопревосходительство...

— Отправка завтра. После полудня. Извольте обеспечить оркестр и все, как полагается.

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство...

Леднев в приемной около офицера — секретаря консула. Увидев Докутовича, секретарь говорит Ледневу:

— Обратитесь к господину полковнику.

Полковник оглядел выразительную фигуру Леднева.

— Что у вас?

— Я должен уехать в Россию.

Полковник взглянул еще раз.

— Я от генерала Шапорина, — добавил Леднев.

— Пропустите...

— Старик Шапорин... какая жалость! Ранен... — Консул генерал Гетманов расстроен. — Превосходный человек... Что сделали с Россией... Шомполами бы всю эту сволочь!... — Лицо генерала мрачнеет. — Ну, ничего... Раздавим!.. Вы старика-то сами знали?

— Что я больше всего запомнил... так это... как он катал меня... — Леднев приостановился: попал или не попал?

— Конь знаменитый был... — вдруг подхватил Гетманов. Он подошел к столу, откинул салфетку. На подносе — дымящийся обед. Наливает рюмку.

— ...Ахалтекинец... Вся Москва любовалась... — Для Леднева наливает в стакан. — Присаживайся, — переходит на отеческий тон.

— Я не голоден.

— За возвращение.

— С удовольствием.

— Вернешься на родину. С оружием в руках. Вместе с союзниками. За Россию!

— За Россию.

Пьют.

— Сейчас получишь документы, деньги, форму... И — в Архангельск... — Консул подходит к карте.

Расцветенная флажками, она рисует положение на русских фронтах. Леднев впился в карту глазами. Гетманов проводит пальцем линию и останавливается, словно пытаясь вдавить в стену точку, обозначающую город.

— Отправка завтра, тебе повезло. — Звонит в колокольчик.

— А денег сколько? — неожиданно спрашивает Леднев.

— Что?

— Платить сколько будете?

— Ну, знаешь!..

Леднев показывает: вид-то, мол, каков... Консул поморщился и напомнил:

— А форма?

— А-а! — Леднев широко улыбнулся.

Отрывисто, почти резко консул говорит вошедшему секретарю:

— К полковнику Докутовичу. Оформляйте... — Генерал удовлетворен. Поглядел вслед. — Да, двадцать крон — дополнительно.

— Благодарствую...

Следуя за секретарем, Леднев попал в коридорный муравейник. Посетителей много, в основном офицеры. Разноязыкий говор. Возгласы. Шумно.

— Господа... Господа... Господа... — секретарь разрезает ладонью разношерстное скопище.

Леднев, как губка, впитывает каждую реплику, каждый взгляд.

— Завтра уходим!

— Да, слава те господи, наконец-то...

Группа офицеров:

— Царя расстреляли... Не пощадили...

— Теперь, слышали, за наше сословие принялись... Каждого третьего — к стенке...

— Эх, Русь-матушка, темна...

Другая группа:

— А князь был такой рассеянный, что в кровать положил ее платье...

— Ну-ну, — собеседник заинтересован до крайности.

— ...А мадемуазель перевесил через стул.

Хохочут.

Секретарь бросает Ледневу:

— Подождите.

Скрывается в дверях.

Леднев оперся о перила балюстрады.

Невдалеке снова слышит русскую речь:

— Читал сегодня эту газетенку?.. Господа социалисты стараются...

Леднев насторожился.

— Я по-норвежски ни гугу.

— Тебе повезло. Тут такое про нашего «их высокопревосходительство»!..

— Теперь все равно!

— Да! — Мнет газету, уходя, кидает в угол.

Леднев неторопливо оглядывается. Поднимает газету, расправляет... Читает название — «Арбейдер бладет».

— Ваша работа?

Газета — на столе редактора.

Мадсен — крепкий, с размеренными движениями. Прищурившись, пристально разглядывает визитера. Перед ним — унтер-офицер в английской форме. Это Леднев.

— Предположим, — неторопливо отвечает редактор.

— Вы... — посетитель глядит в газету, — Мадсен?

— Возможно.

— Моя фамилия Леднев. Я русский. — Он деловито и спокойно садится.

— Понимаю. Белогвардеец.

— Представьте, наоборот...

Мадсен заинтересован. Отложил гранки.  
— ...Пробираюсь на родину, — продолжает Леднев. — Пробыл в Штатах много лет. Сегодня на рассвете покинул угольную яму «Джорджии».

— Тоже возможно, — замечает Мадсен.

— Не верите...

В кабинете появился сотрудник.

— Потом... — кивнул ему редактор. Он выжидающе смотрит на Леднева.

— Итак... — посетитель переходит к главному. — Форму на меня надели (посмотрел на часы) полчаса назад... Отправка транспортов в Архангельск — завтра в два часа дня...

Мадсен привстал.

— Минуточку, это не все... справка, — Леднев положил на стол бумагу. — Выдана унтер-офицеру, — встает, щелкает каблуками, точь-в-точь как офицеры в консульстве, — седьмого полка дивизии патриотов правительства севера России...

Мадсен кричит:

— Андрес!.. Бьери!.. Эрлинг!..

Быстро входят в кабинет сотрудники редакции.

Мадсен показывает на Леднева:

— Слушайте внимательно!

Леднев понимает: Мадсен уже союзник.

— Продолжайте, — подмигивает редактор.

— Направление на сборный пункт. — Новая бумага ложится на стол. — Выдано в русском консульстве... — снова смотрит на часы, — два часа сорок минут назад...

— Андрес, Эрлинг, — Мадсен высоко поднимает документы, — это же факты!

— Еще не все... — перебивает Леднев. — Деньги. Семьдесят — каждому «патриоту», двадцать — за милые воспоминания о лошадке генерала Шапорина.

Газетчики окружают Леднева. Редактор трясет ему руку.

— Его фамилия Леднев. Он русский. Восторги потом! Андрес, позаботьтесь о билете. — Поворачивается к Ледневу: — Поедете в Стокгольм. Только в Швеции есть представительство РСФСР... А это все, — кидает на стол бумаги, — немедленно в номер...

— ...Вы, шеф полиции, не можете оградить нас! Вы срываете отправку войск!.. — генерал Гетманов не в силах сдерживать себя.

Шеф полиции Бергена у телефона. Он абсолютно вежлив.

— Господин консул, меры принимаются. Сейчас меня соединяют со столицей...

Телефонист у аппарата:

— Осло...

Министр внутренних дел диктует:

— Газетку закройте. Наш сотрудник выезжает...

Министра прерывает телефонный звонок.

— Одну минутку... — говорит он телеграфисту, берет трубку телефона.

— Алло! Да, коллега!

Министр иностранных дел:

— Министерство иностранных дел на запрос в стортинге завтра ответит, что в Бергене русское консульство... не существует...

— То есть как?.. Не понял!..

— Нет правительства, нет и консульства, не так ли?

— Остроумно... — улыбнулся министр внутренних дел. Вешает трубку. Озадачен. Подыскивает формулировку. Наконец диктует: — Отправка войск — ночью. Консульство закрыть немедленно...

У трапа — шеф полиции. К нему обращается генерал Гетманов:

— А этого мерзавца уже нашли?

— Выбыл в Швецию...

Гетманов едва сдерживается.

Ночь. Порт. Мокрый снег. Свистки маневрового паровоза. Топот множества ног. Изредка вспыхивают прожекторы, выхватывая картины посадки войск на корабль.

Механизм международного заговора в действии.

Двигутся войска. Слышны команды. Вооруженные англичане, белогвардейцы. Цепочкой поднимаются на корабль.

Состав русского консульства во главе с генералом Гетмановым также приготовился к погрузке.

Стокгольм. Миссия РСФСР.

— ...А вот и последняя ласточка... — Вацлав Вацлавович Воровский поднял газету к самым глазам. Утро, но в кабинете сумрачно и включена настольная лампа. — «С русской миссией в Бергене покончено...»

— Так... — заинтересовался Бородин.

— Нет! — воскликнул Воровский. — Дальше еще интереснее... «Пора и господину Воровскому...» — изображает поклон, — «большевистскому агенту, красному агитатору, убраться из Стокгольма...» Ну как?.. — Воровский отрывается от газеты, весело глядит на собеседника.

Воровский утомлен, но смех искорками вспыхивает за стеклами пенсне. Глядя на него, не сразу догадаешься, как нелегко ему здесь в Стокгольме. Он первый полпред Советов за рубежом. Интеллигент, мягкий, воспитанный, углубленный, он из ленинской гвардии: подтянут, сосредоточен, дружинист.

Бородин раздумывает над тем, что прочитал Воровский.

— Да уж действительно, все в одну кучу!

— Хитро придумано, теперь жди сюрпризов. — Воровский озабочен. Подошел к окну. Из окна видно: около полпредства пристроились смутные личности. Они выделяются среди прохожих.

Воровский подзывает Бородина.

— Боюсь, из Стокгольма вам не выбраться! А с письмом Ильича надо спешить...

— Невероятно! Год революции! А мир полностью дезинформирован.

— Вот что. Попробуем отправить вас из Копенгагена.

— Это мысль. Еду сегодня.

— Подождите. А ведь я приготовил сюрприз.

Из ванной комнаты квартиры Воровского выходит Леднев. Он неузнаваем. Борода и усы исчезли. Перед ним Бородин. Леднев останавливается, пораженный неожиданной встречей.

— Майкл, хэлло!

— Хэлло, Питер! Мистер Леднев!..

— Не Леднев, а Мравин... — уточняет супруга Воровского.

— Мравин... Странно! Забыл! А ведь это моя настоящая фамилия...

Бородин и Мравин хохочут, обнимают друг друга.

— Мы ведь с ним еще в пятом... — крикнул Бородин.

— В Риге... А сейчас — в Москву. Наконец-то!

Комната наполнилась возгласами, смехом, шумом.

Ночь.

Спокойно течет в каналах вода. Ничем не нарушается зеркальная поверхность. Тишина.

В воде повторяются, отражаясь, здания, корабли, лес мачт, паруса.

На безлюдной площади Петр Леднев-Мравин выделяет движения какого-то невообразимого танца. Прыгает на парапет, идет, балансируя, широко расставив руки.

Далекий свисток.

Бородин замечает одинокую фигуру полицейского. Петр преображается. Спрыгивает на мостовую.

Теперь они — ночные гулены. Слегка приподняв котелки, провожают почтительными взглядами молчаливого стража порядка. И снова идут по улицам.

Тишину нарушает цоканье копыт.

Ночной марш эскадрона. У направляющих на штыках флажки. Армейские лошади тянут гаубицы. Кавалькада движается в сопровождении жандармских патрулей.

— Тихий ночной Стокгольм... — в голосе Бородина сарказм.

— И так всюду... — не отрывается от проезжающих Петр.

— В том-то и дело...

По мосту проходит кавалерия.

— Стой! — Трое конных жандармов подъезжают к Бородину и Петру. — Документы!..

Оба вынимают паспорта. Руки в перчатках неловко открывают кожаные обложки.

Недоумение.

Жандарм, перегнувшись, возвращает паспорта.

Почувствовав свободу, лошадь, переступая, закружилась на месте. Жандарм натягивает поводья. Подняв морду, лошадь скалится, косит глазом, пытается избавиться от всадника. Жандарм бьет ее. Лошадь вздымается. Все мгновенно мешается. Рассыпается строй. Ряды спутаны.

Поднявшуюся морду лошади Петр крепким движением ловит за поводья. Натягивает. Пригибает. Лошадь стоит дрожа, всхрапывает, прядет ушами. Взметнулась рука жандарма. Сейчас ударит... Не Петра ли?..

Петр крепче зажал лошадиную морду и, ласково похлопывая по ней, по храпу, тихо успокаивает:

— Но, но, но... Балуй!.. Но, но...

Рука замирает.

Обтекает группу эскадрон.

Посреди моста, широко расставив ноги, стоит Петр. Пальто расстегнуто. Он порывисто дышит. Одной рукой держит в поводу лошадь, другой продолжает оглаживать ее.

Со всех сторон объезжают его всадники. Оглядываются.

Петр отпустил поводья... Так и остается он стоять посреди моста.

Затихает перестук копыт.

Бородин подходит к Петру.

— Ну что?..

— Домой хочу!..

— Петр Иванович, дорогой!.. — Воровский в упор глядит на Петра. — В Россию сейчас вам ехать не придется...

Петр ошел.

Воровский ищет необходимые слова.

— Надо вернуться в Штаты. Это необходимо!

— Что?!

— Я вас понимаю... Не просто понимаю — разделяю ваши чувства. Но поговорим по-мужски. Вы и Бородин — два человека, которые могут добраться с письмом Ильича. Это объективное положение. А люди должны, наконец, узнать правду о нашей революции.

— Петр, поймите, даже вы знали мало. — Бородин тоже взволнован.

— Верно... Но...

— Подумайте... — Воровский поднялся, показал Бородину: пошли...

Петр рванулся за Воровским. Остановился. Постоял. Машинально листает журнал... Швырнул на пианино. Дрогнули струны. Вырвался из гнезда маятник метронома, стал отступать, словно удары сердца.

Глядит на Петра Бородин.

Глядит Петр... Метроном, ноты, клавиатура.

Врывается стук паровозных машин. Слышны шаги патруля, цокот копыт, тяжелый топот солдатских ботинок.

Петр резко распахивает окно.

На рейде — крейсер, как хищник, растянувшийся на воде. Петру становится мучительно, до физической боли ясно: дорога домой будет еще длиннее... Петр не находит внутреннего равновесия, чувствует себя разбитым.

Воровский, Бородин, Мравин в купе поезда. Доносятся беспокойные вокзальные шумы.

← Присядем на дорогу... — Воровский снимает шляпу, расстегивает пальто.

Сели на диваны, помолчали. Поднялись.

— ...До свидания! Михаил Маркович... — Воровский крепко жмет ему руку. — Петр Иванович... — задерживает руку, говорит подчеркнуто, напоминая, — господин Леднев...

Воровский выходит на платформу.

Поезд трогается.

Удаляется фигура Воровского. Последний напутственный жест.

Человек с крысиной физиономией бесшумно входит в купе и бесшумно усаживается. Смотрит. Разглядывает. Беззастенчиво.

Перед ним — двое. Безукоризненно одетые господа.

— Будем знакомиться?.. — голос у «крысиного» шершавый, как наждак.

Молчание.

— Что же вы молчите... То-ва-рищи?

Двое смотрят друг на друга. Недоуменно.

— Мистер что-то хотел сказать?.. — спрашивает Петр.

— А-а! Американцы! — Новый пассажир скорчил мину. — И провожал вас не господин Воровский, а президент Штатов Вудро Вильсон!..

«Крысиная физиономия» издала скрипучий смех.

«Господа» подхватывают.

Смеются все. По-разному.

Стрелки. Стыки. Мосты. Стучат колеса. Пронесется станции. Мелькают реки, леса...

Двое по-прежнему сидят напротив одного.

Двое читают иллюстрированный журнал и расписание.

Один смотрит на них остренькими глазками, не отрываясь.

Бородин, слегка подвинувшись, показывает страницу, проводит пальцем по строке. Петр чуть наклоняется, читает: Линчепинг... стоянка 7 минут...

— Йес.

Поезд замедляет ход. Здание вокзала, надпись: Линчепинг. Удар колокола: прибытие.

Двое поднимаются, берут саквояжи и трости.

— Гуд бай!

Выходят на платформу.

«Крысиная физиономия» — за ними.

Двое выходят на привокзальную площадь. Видят несколько пролеток. Петр направляется к одной из них. Человек тут же резво взбирается в другую пролетку. Но Бородин останавливает Петра, достает из жилета часы, смотрит: рано, не следует спешить!..

Стоят.

Шпик напряженно вертится на сиденье.

Пора. Двое усаживаются.

Пролетка шпика трогается.

Теперь и Бородин дает команду извозчику.

Лишь только шпик въезжает в улицу, второй экипаж круто сворачивает и катит по площади, направляясь снова к вокзалу.

«Крысиный» теряет подопечных из виду, суетится. Его пролетка, разворачиваясь, перегораживает движение в узкой улице. Махнув рукой, шпик соскакивает и бегом устремляется через площадь.

Удары станционного колокола: отправление.

Двое спокойно входят в купе.

Поезд трогается.

Шпик выбегает на платформу.

Поезд уже далеко.

За окнами вагона — крупные буквы: Копенгаген.

Из купе выходят Бородин и Петр — два рабочих парня, один в блузе, другой в свободном, мятом костюме.

Они спешат смешаться с толпой.

В Копенгагенском порту — послевоенное оживление. О прошедшем говорят полуразрушенные пакгаузы, ржавые корпуса судов, застрявших у отдельных причалов. Но порт ежедневно принимает корабли. В основном с Запада. Отправляет в основном — на Восток. Пассажирские и торговые линии еще законсервированы. Война окончилась, но идут военные грузы.

Бородин и Петр стоят около огромного океанского судна под американским флагом.

— Матросы... — Бородин обращается к спустившемуся по сходням шкиперу. — Отличные ребята, можем пригодиться...

— Шутники, — усмехается шкипер. — Вас тут на сто посудин... — кивнул в сторону платформ, стоящих на железнодорожной ветке.

На них греются в лучах блеклого солнца безработные.

— Нас всего двое, — говорит Петр.

— Много!

— А если один?..

- Спросите на «Хелиг Олафе»...
- С платформы язвят:
- Идите, идите!.. Там требуется капитан.

На причале — воинская часть. Перед строем прохаживаются офицеры.

Раздаются команды:

— Становись!.. Напра-во!..

Солдатская масса растягивается серой гусеницей.

Безработные курят, смотрят на солдат.

— Сопляки еще.

— Жалко!..

— На корм.

— Червячкам и рыбам...

Петр и Бородин среди безработных.

— Да, время против нас, — глядит на отправку Бородин.

— Сегодня — англичане, вчера — американцы, и все туда... — цедит кто-то.

— А нам — туда... — Петр показывает в другую сторону.

— Не выйдет у вас, ребята...

— Почему?

— Платить надо. Шипингмайстеру.

— Неужели?! И много? — вырвалось у обоих.

— ...Задаток получите, принесете!.. — коротко рубит здоровяк шипинг, шагая по причалу.

Бородин и Петр почти бегут рядом.

— Как, весь?

— А вы что думали! Капитану отдаю... половину...

— Когда устроите?

— Не знаю... Придется подождать...

— Нам бы поскорее!

Петр и Бородин в конторе профсоюза.

За широким окном — железнодорожные подъезды к порту, дымы, нескончаемое движение.

— Но при чем наш профсоюз? — respectableный, спокойный, рассудительный босс полон недоумения.

— Он же болел, мы сошли на берег, а вы — матросский профсоюз...

— Каких матросов?.. Датских. — Гладкими руками respectableный берется за книгу записей. — Какого числа пришли?

— Второго.

— Корабль?

— «Сан-Франциско».

Сверяется по книге:

— Верно... В какой больнице?

Петр и Бородин переглядываются.

— Да тут, недалеко...

— Недалеко... — Босс переводит взгляд с одного на другого. Раздумчиво цокает языком. — Це-це-це... Цу-цу-цу-цу... Бесплезное дело, ребята...

Грязная, жирная, крутящаяся воронками вода. Тяжело вытягивается из нее толстый канат.

Скрежещут лебедки, гнусаво гудят пароходы, свистит маневровый паровоз. Крики, команды, шум порта.

Опускается трап. На палубе уже сгрудились люди. Они расталкивают друг друга, кричат, размахивают руками.

Толпа белоэмигрантов напирает. Здесь же пожитки, тюки, баулы, ящики. Пестрые, растрепанные люди скатываются с палубы такого же грязного, дымного грузо-пассажирского парохода.

Падает с борта корзина, кружится в воде между бортом и причалом. Истощенный визг стоит над местом разгрузки.

Зажатая между двумя рядами солдат с винтовками, толпа медленно сползает с трапа.

— В карантин... В карантин... В карантин... — раздается голос, усиленный рупором.

Другой, скандируя, повторяет:

— В таможенно... В таможенно... В таможенно...

Ползет в узком проходе между солдатами пестрая толпа.

Дама в сбившейся шляпке:

— Свободная Европа!..

Интеллигент в пенсне:

— А вы думали, мадам, едете в свое имение...

Офицер:

— В карантин — прелестно! Лишь бы не к большевикам в лапы!..

За товарным вагоном — Бородин и Петр. Им все хорошо видно.

Бородин прищурился, жестко оценивает:

— Соотечественнички...

— В голове не уместается!..

— Слушайте, Петр... — Бородин замечает, что его товарищ, силясь что-то разглядеть, не слушает его.

Пытаясь прорваться через цепь солдат, высокий человек старается привлечь к себе внимание людей, стоящих группой в стороне. Наконец его замечают. Солдаты расступаются, пропуская высокого и даму.

— Это Шапорина. Я рассказывал. Может быть, нам улыбнется фортуна, — торопливо говорит Петр и, быстро нагнувшись, пробирается под вагоном.

Оказавшись по ту сторону линии, Петр ловко поднимает чемаданы. Перешагивая через рельсы, шпалы, обходя угольные кучи, группа выбирается к автомобилю.

Укладывают вещи. Петр старается оказаться близ Шапориной. Наконец это ему удается. Она поднимает глаза и на мгновение застывает. Узнает не сразу: лицо знакомое, но бороды нет...

— Вы?.. Здесь?.. Что случилось?!

— Удивлены?

— Еще бы!..

— Я — не меньше!..

Высокий человек наклоняется к шоферу:

— Гостиница «Савой».

— Прощайте, — Шапорина улыбнулась. Одними глазами. Петр глядит вслед. Сосредоточенно. И весело.

В центре Копенгагена выставка цветов. Осенний базар. Из оркестровой раковины льется вальс.

Навстречу Петру по дорожке между шпалерами цветов идет Шапорина, стройная, в широкополой шляпе с вуалью. Лицо — «мурильевское»: выразительные глаза, добрая улыбка.

— Как это мило, — улыбается Шапорина. — Лучшего места не придумаешь... Тогда получилось неловко. Извините! Но вы!.. Право, я могла бы вас и не узнать...

— Обстоятельства... Да и я не сразу решился подойти...

— Понимаю, — улыбнулась, — это был случайный спутник...

Музыка внезапно прерывается. На сцене перед оркестром — молодой человек.

— Победительницей нашей выставки цветов признана юная фру Амстед.

Появляется героиня праздника с огромным букетом.

За столиками аплодируют.

— Прошу!..

Оркестр грянул польку. Девушка спускается с эстрады. За ней — директор выставки. У него — большая хрустальная ладья в серебре. Девушка проходит между столиками. Посетители получают гвоздики невиданных размеров. Взамен каждый бросает в ладью какой-нибудь сувенир: булавку из галстука, кольцо, деньги, цепочку и даже часы. Ваза почти полна.

— Господа! — сопровождает эту сцену тенорок молодого человека на эстраде. — Датчане любят цветы и юность. Поможем нашей очаровательной малютке развивать свое дарование и цветоводство...

Посетители за столиком:

— Маленькое уточнение: ее папа — банкир и владелец цветочных магазинов.

— Сдобный выростил цветок.

— За этот бутончик я отдал бы все эти гвоздики...

— Похоронила отца... Решила уехать... — Шапорина посмотрела в глаза Петру.

— Но куда?

— Сейчас в Америку...

Чуть не вскрикнув, сдержал себя Петр.

— Там тетка. Все-таки пристанище...

Вновь на полутакте обрывается музыка.

Почти восторженно тенорок объявляет:

— Господа! А теперь выполним нашу гуманную миссию. Пожертвуем несчастным голодающим детям России.

Снова по дорожкам скользит директор выставки с подносом.

— Решиться на такое... — Петр взглянул на Марию Алексеевну.

— Звучит иронически... Просто нет дома, нет ничего. А после смерти отца я не могу остаться...

— Значит, надолго?..

— Пережду это страшное время. Там хоть нет голода...

На подносе — жалкая кучка монет. Директор приближается к эстраде.

Из-за столика, расположенного близ раковины, вырастает импозантная фигура банкира Амстеда. Он останавливает директора выставки и, взяв с небрежным видом несколько монет, просеивает их между пальцами.

— Я не понимаю вас, господа...

Все затихает.

Лишь двое комментируют, обмениваются впечатлениями.

— Явление второе: те же и папаша...

— ...Помочь детям — значит помочь России, — продолжает банкир. — Помочь России — значит избавить ее от большевиков. Покончить с большевиками — значит спасти цивилизацию. Вот мое слово... — бросает на поднос бумажник. Аплодисменты. Амстед поднимает руку. — Иди сюда, детка...

Из-за стола выходит юная фру Амстед. В руках у нее — ладья. Передает ее отцу. Он высыпает содержимое на поднос. Один за другим подходят гости. На подносе вырастает гора вещей и денег.

— Пойдемте отсюда, — говорит Петр.

Они идут по парку. Стемнело. Фонарщики проворно зажигают лампы вдоль аллеи. Доносятся звуки бравурного марша. По дорожкам снуют разносчики сбитых сливок, мороженого. Перегоняя Шапорину и Петра, растягиваются цепочки смеющихся людей. Кто-то наигрывает на концертино смешную мелодию. Компания веселится, догоняя ловкого музыканта.

— Ну, а вы? — спрашивает Мария Алексеевна.

— Вот, все еду...

- А в Бергене не помогли?
- Консульства уже не было.
- Так... — посмотрела на него внимательно. — Что же дальше?
- Посоветуйте!..
- Поезжайте, как я... Парадокс, но через Америку путь может оказаться короче! Переждете тоже...
- Петр как бы размышляет над ее предложением:
- В Америку?.. Об этом, признаться, я не думал...
- Вы же там жили!..
- ...Стопроцентный американец!.. Прошу — матросское удостоверение, пропуск в Нью-Йоркский порт...
- Хотите, я помогу вам...

Двигается шествие. По традиции оно завершает праздник. На колеснице, в которую запряжен пони, стоит юная победительница. За ней шагают участники праздника. У многих в руках бокалы с шампанским.

Начинается фейерверк. В толпе мелькает высокий человек, сопровождавший Шапорину в порту. Он замечает свою спутницу.

— Госпожа Шапорина, идите сюда... — Берет Шапорину под руку. — Видели спектакль? Удался на славу! — Затем увлекает ее в шествие.

Снова вспыхивает фейерверк.

Шапорина уже вдали.

- Соглашайтесь... — Петр почти угадывает это слово.
- Согласен!.. — кричит он вслед.

- А не поспешили вы? — говорит Бородин Петру.
- Реальная возможность... такой не было.
- Это верно... но тогда вы едете один... очень рискованно.
- Отказаться?
- Это проще всего... утром выеду в Стокгольм, к Воровскому. Тогда решим. Через два-три дня ждите.

Шапорина в кабинете консула США в Копенгагене.

— Господин консул, неужели вы откажете мне?

— Мадам! — Консул вертит в руках документы Мравина, внимательно их рассматривает. — Царские драгоценности, документы концессий, акции... сколько угодно! Но везут наркотики, литературу большевистскую... Более того, письмо самого Ленина. Об этом сообщил из Москвы посол Штатов мистер Фрэнсис. Вот почему мы обследуем каждый корабль, как проститутку в Вашингтоне... Вы это учитываете?

— Бесспорно.

— Отлично... — Консул открывает стенной сейф, достает досье. Удобно усаживается, раскрывает папку, берет удостоверение. Одна под другой ложатся две фотографии. Фото в газете (Петр — унтер-офицер, с бородкой, в фураж-

ке) закрывается наполовину удостоверением. Фото на удостоверении (бритое лицо Петра) перекрывается ладонью консула. Мария Алексеевна наклоняется и видит две пары одинаковых глаз.

— Что скажете?.. — На лице консула появилась усмешка.

— Я знаю про историю в Бергене. Это не он... — Шапорина поднимает ладонь консула, сдвигает газету. Видны оба фото. Полностью.

Консул глядит внимательно, пытаясь проникнуть в ее мысли.

— Мадам... как вы можете утверждать?!

Шапорина, перебивая его, твердо повторяет:

— Это не он.

— Значит, вы настаиваете!..

— Речь идет о любезности.

Консул подходит к книжному шкафу, открывает кабинетный бар. Достает вино, бокалы. Наливает.

— Вы не устаете меня удивлять, мадам...

Шапорина пригубила.

— Поедет вашим пароходом?

— Да.

— Кстати, вы знаете, «Авраам Линкольн» уходит на два дня раньше...

— Я знаю.

Консул прячет в сейф документы и достает пакет.

— И у меня небольшая просьба. Захватите это. Будьте осторожны...

— Кокаин?

— Мадам, речь идет о любезности...

Рукопожатие.

— Значит, так... — Воровский встал, подошел к Бородину. Сказал отчетливо: — Адрес, данный Петру Ивановичу этой женщиной, — явочная квартира белогвардейцев.

— Не может быть?!

— Проверено. ЧК ручается головой.

— Шапорина, следовательно...

— Совершенно верно. Работает на белогвардейцев... Связана с американской разведкой. Очень опытная.

Бородин вскакивает.

— Черт побери! Чувствовал же я!

— Промедление... Сами понимаете. Петр Иванович — человек горячий. Может допустить просчет... — Воровский положил свою руку на руку Бородина, взглянул вверх пенсне. — Поспешите, надо предупредить.

Петр еще и еще раз проверяет вещи в саквояже и на себе. Особенно жестяную коробку. В ней письмо — оба экземпляра. Спрятано надежно.

Покидает гостиницу.

Бородин в поезде. Глядит в окно. Курит. Жарко. Расстегивает ворот; развязанный галстук не соответствует его франтоватому облику.

Петр неторопливо входит в ворота порта. Показывает охране документы. Направляется к кораблю. Посадка уже началась.

По причалу бежит Бородин. Еще несколько шагов, и он видит, что «Авраам Линкольн» уже отошел.

Растерянный, стоит Бородин на берегу.  
Губы сжаты. Брови сомкнуты.  
Прокатилась вдоль причала волна.

В размеренный шум моря вплетается звук: сухой стрекот пишущей машинки...

И голос Ильича:  
— Что же вы предлагаете?.. А как доставить?.. Все пути перерезаны...

Сжав губы, смотрит Бородин вдаль.

Кто-то трогает его за плечо.

Поворачивается. За ним — несколько выразительных фигур: крепкие мужчины в тесных, не по фигурам, костюмах.

— Следуйте за нами...

«Авраам Линкольн» в океане.

В ящик для плотницких инструментов руки кладут маленькую жестяную коробку. Сверху — инструменты. Молотки, клещи, отвертки тщательно прикрыли ценный груз.

Из каюты выходит Петр. В руке — плотницкий ящик. Петр идет по узкому коридору.

В капитанской рубке несколько человек склонились над картой.

Среди них капитан Джекобс — высокий, гладко выбритый, стройный человек. Он не молод.

Поспешно входит телеграфист. В руках лента и лист с расшифрованным текстом.

— Господин капитан... Адресовано вам и господину Краузе.

Капитан берет лист, читает.

— Начинается!.. — вырвалось у него.

Шапорина и ее «случайный спутник» в каюте у старпома Краузе. Теперь «случайный» в форме подполковника русской армии.

Собеседники взволнованы.

— Сколько н-н-новеньких доб-б-рали в Копенгагене? — Краузе заикается.

Перед ним — коренастый человек с тяжелым лбом.

— Шестерых, господин старпом.

— Наблюдение за каждым. Обо всем докладывать.

— Понял, шеф.

— Иди.

— Г-г-господа, — обращается Краузе к собравшимся, — на нашем корабле опасные преступники. Они везут секретное письмо Ульянова. Вот сообщение, — вертит в руках телеграмму.

— Так и следовало ожидать, — заметила Шапорина.

— Вот как! — поднял глаза Краузе.

— Надо брать всех! — твердо сказал подполковник.

— Кого?

— Шестерых!..

— Ко-о-омандой уже з-занялись, — отрезал Краузе. — З-за вами пассажиры. Вот та-абель.

— Думаю, — уверенно протянула Шапорина, — я на верном пути.

— В-в-вашего подоп-печного я в-возьму на-а себя.

— Напрасно. Можно спугнуть...

Петр идет мимо кают.

Пробегаёт матрос.

— Второй плотник?.. Мастер ищет...

Петр ускори́л шаг.

— Вот список кают, — первый плотник протянул Петру бумагу. — Вызывают. Действуй.

Петр сделал шаг к двери.

— Постой. — Плотник показывает в списке. — Эту немедленно. Каюта старпома Краузе...

Краузе стоит у двери каюты. Руки в карманах кителя. Не отрываясь, глядит на работающего Петра.

Сноровисто, по-плотнички, вывинтив подпорки откидного столика, Петр прилаживает его на место. Дело спорится. Ни одного лишнего движения. Изучающий взгляд старпома несколько беспокоит Петра.

— Исправно, — говорит он, закладывая инструмент в ящик.

Петра не узнать. Он преобразился. Перед Краузе — рубаха-парень, с чуть озорным взглядом. Двигается, делает все как бы неторопливо, вразвалку.

— П-п-плотник настоящий!.. — Старпом акцентирует на слове «плотник»; мол, все остальное в биографии этого человека очень темно.

— Какой год!.. Я и слесарь, и кузнец, и лесоруб...

— И русский, — как бы между прочим вставляет Краузе.

— А?.. — Вопрос вырвался неожиданно, хотя Петр все время начеку. Но он тут же поправился. — А как же!.. Живу в Америке.

— С неко-оторых по-ор в Европе...

— Судьба-индейка!.. — по-простецки кинул Петр.

— Находчивый! Ха-ха... — сухо смеется Краузе, провожая Петра. Смотрит вслед жестким взглядом.

Петр выходит из каюты.

— Петр Иваныч!.. — слышит Петр приветливое восклицание. Он медленно оборачивается, оценивая, не слышал ли кто-нибудь слова Шапориной. С укоризной глядит на нее.

— Я поступила опрометчиво, простите, мистер Леднев.

— Надеюсь, обойдется, — Петра не оставляет ощущение тревоги от разговора с Краузе.

— Вы о чем? — замечает она его состояние.

— Пойдемте... — Они двинулись по коридору. — Старпом устроил маленький допрос.

— Будьте осторожны.

— К слову... не можете ли вы взять кое-что из моих вещей?.. Сохраннее будет.

Шапориная приостановилась.

— Сохранить?.. Пожалуйста... Каюта семьдесят вторая...

Шапориная сворачивает в салон.

Петр идет дальше. Вынимает список. Сверяет номера. Остановился против каюты № 13. Смотрит список: прочеркнуто, свободно. Хочет войти. Заперто. Открывает служебным ключом. Оглядывает каюту. Она пуста.

В капитанской рубке штурман отрывается от карты.

— Господин капитан, зона мин.

— Два румба левее. Сбавьте ход.

Команда передается в машинное отделение.

— Вы поспешили, господин Краузе, — бросает Шапориная. Она с единомышленниками снова у старпома.

— Я б-б-бы его в-в-взял немедленно! Но ведь он н-не один! Хитрая лиса...

— Раскололи бы этот орешек на берегу — везли бы чистенькое зернышко, — рубит подполковник.

— В чужой стране?! — Шапориная усмехнулась. — Здесь... как на ладони... каждый...

— Мадам, это судно — мой дом. Я хожу на нем лет десять. Тогда оно еще было «Кайзер», а не «Линкольн». — Подходит к Шапориной вплотную. — Ск-крыться здесь — су-у-ущий пу-у-устяк.

— Он придет.

Их прерывают короткие тревожные гудки парохода. Всюду: вокруг, сверху, на палубе, по коридорам раздается топот, крики. Рывком распахивается дверь. Матрос:

— Господин старпом, мины!..

По лестницам, переходам бегут люди. Хлопают двери. Мелькают искаженные страхом лица. Люди пытаются надеть спасательные пояса.

Из каюты Петра видно: паника, бегут люди... Он быстро захлопывает дверь, запирает. Достает жестяную коробку. Завернув ее в тряпку, прилаживает на груди шарфом. Хочет выйти... Дверь еле поддается... Нажимает... Врезается в плотную толпу.

В рубке — капитан.

— Стоп. Назад. Тихий.

Все внимание на нем. Все ждут распоряжений, готовые немедленно их выполнить.

Вооруженные матросы отражают атаки пассажиров у выходов на палубу.

Тесные проходы забиты до предела.

— Пустите!

— Спасите!

— Прощай!

— Где капитан?

— Все потонем!

— Я заплачу!

У борта матросы.

Затаив дыхание смотрят вниз, где по курсу «Линкольна» перекатываются в воде три смертоносных рогатых шара.

Склонилась над поручнями Шапорина.

Рядом — Петр.

Волны то подталкивают мины, то отгоняют их от корпуса. Слышно, как в мертвой тишине постукивают машины, плещут в обшивку волны.

Корабль начинает отходить. Медленно, вначале почти неощутимо, увеличивается просвет между минами и судном.

— Морское путешествие, — иронизирует Шапорина, — это восхитительный отдых...

— Кормежка рыб отменяется...

— Как, в сущности, все мизерно... Наши хлопоты, беспокойства... жизнь...

— Вы хотели что-то спрятать... Что же не приносите? Вы не забыли: каюта семьдесят два.

— Спасибо, но, возможно, не придется.

— Вам видней... — Видимое безразличие сменяется решительностью. Шапорина делает козырный ход: — Слушайте, Леднев... Сегодня — обыск.

— А у вас?

— Господи! — кокетливо улыбается. — Вот недогадливый! — и добавляет: — Мужчины есть мужчины!..

— ...Типичная женщина! — Краузе бросил уничтожающий взгляд на Шапорину. — Обыск! Ха-ха! — Смеется холодно, презрительно. — Я п-п-предупреждал. Мог спрятать. Мог передать т-т-тысячу раз.

— Только начните обыск...

— Все перет-тряхнем. — Прошел по каюте. Крепко стукнул по столу, приняв решение. — До последней з-з-заклепки.

Коридор. Лестница. Палуба. Еще коридор. Стараясь ни с кем не встречаться, идет Петр...

Видит сверху: мелькают группы из команды. Расходятся в разные стороны. Стучат в каюты:

— Разрешите!

— Откройте!..

— Придется вас потревожить...

Еще несколько шагов. Группа навстречу... Петр прячется. Миновали... Снова идет.

Номера кают: 20, 25, 50, 65, 72...

Останавливается. Оглядывается. Берется за ручку.

Отпускает. Делает шаг в сторону.

Испарина. Вытирает лицо...

Возвращается. Каюта № 72. Снова протягивает руку...

Мгновенье.

Рванулся от двери. Бегом.

Мелькают цифры: 65, 50, 25...

Поворачивает за угол. Каюта № 13. Оглядывается.

Открывает дверь. Знакомая пустая комната... Входит.



Другая каюта. В глубине ее стоят пассажиры. Все перевернуто. Двое из команды вытряхивают вещи из чемоданов.

Петр, стоя на лесенке, засовывает в вентиляционный воздуховод железную коробку. Быстро завинчивает крышку...

В коридоре вооруженные матросы. Распахивается дверь. Кто-то пытается выйти из каюты.

— Вернитесь...

За большим столом салона случайное сборище. Играют в карты, пьют, молчат, курят. Холодно, неуютно. Люди выглядят случайными среди элегантных панелей, удобной мебели. Они старательно сохраняют ничемные обычаи и манеры. Офицеры щелкают каблуками, дамы величественно склоняют головы. Все изображают «свет».

Шапорина наигрывает на рояле.

Пересекая салон в разных направлениях, мечется подполковник.

— Господа, что творится!.. — прикрыв за собой дверь, входит тучный человек. — Трудно описать.

— Благодарите бога, — отрывается на миг от пульки батюшка, — что вы здесь...

Шапорина перестает играть. Но только для того, чтобы лучше продемонстрировать роль, избранную ею в этот вечер.

— Надоело все, — тоскливо тянет она. — Уснуть бы... А проснуться: ни большевиков, ни меньшевиков... древние ящеры, право, лучше!

— Играйте, мадам... — рядом с ней устроился человек в накинутах на плечи богатой шубе, бывший член думы.

— Повеселее что-нибудь... — просит красивый офицер.

— Трефы.

— Козырная масть пошла...



— Зима выручит... Зима всегда спасала Россию... — говорит тучный.

— Спасет ли? — Преферансист выкладывает карту.

— Прозевали родину, — констатирует богатч.

— Вернем... Россию... — Подполковник похож на мечущегося хищника.

— Сидя здесь?! — спокойно язвит член думы.

— Замолчите... — Красивый офицер пытается расстегнуть воротник. — Вы, он, она, я — вот Россия! Другой нет...

— Взятки мои.

— А вернемся, — тучный не блещет новизной мысли, — вздернем интеллигентиков...

— В первую очередь, — подхватывает батюшка, сдавая карты, — Блока, Шалапина, Горького и... как его?.. Станиславского... Продались большевикам за паек да похлебку... «Гордость культуры»!

В каюте № 13 Петр энергично нарушает привычный облик: ставит стол поверх кровати, вывинчивает плафон. Комнату не узнать: от недавнего уюта не осталось ничего.

Группа пассажиров останавливает капитана.

— Господин капитан, что делается?! Прекратите!

— Господа, разойдитесь по каютам, я обещаю навести порядок.

Петр выходит из каюты. Пишет на двери мелом: «Ремонт». Достает ключ, хочет запереть. Решает не делать этого. Оставляет каюту открытой.

В салон твердым шагом входит старпом. Офицерские движения, выправка. С ним несколько человек из команды. Останавливаются. Краузе быстрым взглядом ощупывает собравшихся.

— Го-о-спода... П-п-прошу п-пройти в каюты. П-п-проверка вещей...

— Что?

— С кем вы разговариваете!

Кричат почти все сразу.

— Н-не за-а-ставляйте м-м-меня по-овторять. — Выдержав паузу, старпом продолжает: — В Нью-Йорке н-не в-выпустят н-никого, ес-если что-нибудь об-бнаружится...

Шапорина резко провела по клавишам.

— Но мы не отвечаем за остальных! — натопорчился член думы.

— Т-тогда п-придется, го-оспода, о-осмотреть вас здесь, а каюты без вас...

Салон взрывается негодованием.

— Это издевательство!

Неслышно входит капитан Джекобс.

Он молча наблюдает.

Скандал продолжается.

— Молчать! — перекричав всех, почти скандирует Краузе. — Вы с-вое ска-азали. Нация тряпок...

В возникшей тишине слышны сдержанные слова капитана:

— Господин Краузе, немедленно прекратите.

Краузе бледнеет, поворачивается, отвечает подчеркнуто почтительно:

— Уважаемый шеф, есть дела, в которых вы н-не компетентны.

— Ах, вот что!.. — Джекобс резко выходит из салона.

— Так что? — Краузе смотрит на пассажиров. — Господа!..

— Мы слышали капитана...

— Эти англичане — т-тугодумы... — небрежно бросает Краузе. — Приступайте!.. — кивает матросам.

Капитан выходит на палубу.

— Вахтенный... десять матросов ко мне!..

— Господа! — Шапорина стоит у рояля. Наступает тишина. — В чем дело?.. Господин Краузе, я иду в каюту.

— Мадам, вы не пройдете! — Вышколенный офицер в дверях.

— Пропустите!

Взрыв негодования.

— Дрянь!

— Предательница!

— Может быть, вы заодно с ним?

Рядом с Шапориной со звоном разлетается пущенный кем-то бокал. Шапорина пятится. На выручку кидается подполковник. Вместе с матросами он старается оттеснить толпу. Краузе берет Шапорину за руку, ведет к двери.

— Она — с немцами!

— Шпионка!

— Продалась, как большевики...

Офицер, забыв про выправку и лоск, бросается на Шапорину с кулаками.

Сильные руки хватают его и резко отбрасывают прямо на стол.

Это Петр.

В распахнутых дверях вместе с капитаном стоят матросы. Старпом видит второго плотника. Скрестились взгляды.

Из глубины салона на Петра глядит и другой человек — рослый матрос.

Офицер бросается на Петра. Но дорогу ему преграждает рослый матрос.

Офицер падает. Ретируются бандиты старпома. Леднев направляется к Шапориной.

— Петр... — останавливает его незнакомый матрос.  
Петр оцепенел. «Здесь, на «Аврааме Линкольне», произнесено его имя!..» Мысли скачут чехардой.

— Петр!.. — в ночной тьме парень прижал его к переборке.

— Что надо?

— Молчи! Из-за кого ввязался?! Она с ними. Третий рейс. Красную пропаганду ищут. Все переворачивают.

— Что-о!.. — вскрикнул Петр.

Парень прикрывает Петру рот.

Простучали дробно ноги, кто-то спускался по лестнице.

Оба исчезают в темноте.

Разговор продолжается на баке.

Неизвестный зажигает фонарь, загораясь свет кепкой.

— Да ты-то кто? — спрашивает Петр, всматриваясь в едва различимое лицо.

— А не шпик ли я?.. Так подумал? — посмотрел на него парень.

— Ну-у...

— Я — Бриедис... — парень подносит к лицу фонарь. Светлые глаза, чуть прищурясь, глядят на Петра. — Помнишь... Мравин!.. Рига, пятый год, наш отряд... металлисты, схватка у тюрьмы...

— Арвид, ты?..

На палубе вдали показались фигуры. Тревожно замелькали огоньки.

Бриедис загасил фонарь. Снова — тьма. И удаляющиеся шаги.

— ...Сидел. Кунгурская этапная. Бежал... Снова бежал... Теперь здесь, — продолжает рассказывать Бриедис.

— Эх, я! Какой идиот! Дружище! Как ты кстати...

— Еще бы...

— Я не о том... — Петр поднялся, оглядывается. — Ищут, говоришь...

Отворачивается крышка воздуховода.

Петр и Арвид в каюте № 13.

Петр глубоко просовывает руку... «Неужели? Что-нибудь случилось?!» Перехватило дыхание.

Арвид смотрит снизу...

Петр тянется еще дальше... В порядке...

Вытаскивает жестяную коробку.

— Вот она! — Петр спрыгивает.

— Дай посмотреть.

— Там, где не так опасно.

Топот по коридору.

Замирают...

Стихло...

Петр приоткрывает дверь.

Свободно.

Первым выбирается Бриедис.

Спустя немного времени, спрятав на груди коробку, из каюты выскальзывает Петр.

— Спасенная мадонна, вам не надоел этот спектакль? — Краузе дает волю открытой издевке.

— Что дальше? — Шапорина вынуждена снести и это.

— По-олюбуйтесь!.. — На столе у Краузе — груда вещей, реквизированных во время ночного обыска: русские книги, брошюры. Старпом поднимает журнал, держа пальцами за страницу. — Д-до-вольны? Ни-ничего... — резюмирует он.

— Тонко подмечено.

— Мне н-н-нужно пи-исьмо Ле-енина! — кричит старпом.

— Как вы тупы, Краузе.

— Готовьтесь к худшему, мадам.

— Краузе, мы в одной упряжке.

Узкий лаз.

Куда-то, будто в преисподнюю, спускается Арвид. За ним Петр.

Ползут мимо труб, вдоль переборки.

Петр передает Арвиду коробку.

Она скрыта в тесной щели, спрятана от самого тщательного розыска.

— ...Я должна извиниться за наших сограждан... — мягко говорит Шапорина.

— Вам-то чего прощения просить!

— Осуждаете, — уловив интонацию, Шапорина подмечает резкость Петра.

— Да нет... Противно с этой сворой... — подчеркивает Петр. — На одном корабле... — Он резко пошел вдоль борта.

Шапорина — за ним. Догоняет, идет рядом.

Перегнувшись через перила, сверху за ними наблюдает старпом.

— Уж не большевик ли вы, Петр Иванович? — кокетливо спрашивает Шапорина.

Вопрос, впрочем, серьезен. Разговор приобретает обнаженный характер.

Петр посмотрел на Шапорину так, что у нее мелькнуло: «Уж не ошибка ли все это?..» Вид ее собеседника говорил: «Ну и нелепости приходят в голову женщине!»

Петр ответил:

— Просто люблю драться.

Смеются.

Петр продолжает игру.

— Значит, моя просьба...

Шапорина взглянула остро. Спросила:

— Какая?

— Насчет вещичек, сверток...

— Так ведь обыск был!

— Чем черт не шутит!..

— Я же говорила! Пожалуйста!..

Останавливаются. Петр говорит доверительно, стараясь довести до ее сознания смысл своих слов во всей их полноте:

— Мария Алексеевна, это очень важно и... очень секретно.

— Я буду ждать.

Петр прошел несколько шагов. Вернулся.

— А у вас не опасно?

— Они мне доверяют.

— Почему?

— Привыкли... Мой друг, на этом корабле я уже третий рейс...

— Превосходно!.. — опешил, но виду не подал.

— ...Так и сказала: третий рейс?! — вскрикнул Арвид.

— Да.

— Вот дрянь!

— Ну, ничего!.. Сверток она получит...

— Что?

— Слушай внимательно...

— ...Сработаем! — Американец, маленький сморщенный человечек, похожий на поганку, ясен с первого взгляда: негодяй.

— Когда принесешь? — спрашивает Петр.

— А когда нужно?

— Давай так: ноль тридцать. Сюда.

— Пятьдесят долларов.

— Вот... Задаток. Остальные, как принесешь.

— О'кэй.

— ...Шеф доволен, — Коренастый человек с тяжелым лбом на миг оторвался от переговорной трубки и ласково ткнул «поганку» кулаком в бок. — Слушаю. Так. Ясно... Жду... — закрывает трубку. — Пойдешь с напарником... Эй!.. Евлампий! — кричит он, перекрывая грохот машинного отделения.

Появляется верзила.

По-хозяйски решительно в машинное отделение входит старпом.

— Ах, это ты! — говорит он американцу. — Учти, явишься к-к-к нему т-т-точно, к-как до-оговорились. В ноль т-тридцать. Кокаину добыть хоть со дна.

— А как насчет...  
— С-с-сколько о-обещано?  
— Сотня, — не моргнув, отвечает «поганка».  
— П-получишь сто пятьдесят.  
— Нас двое... — недовольно мямлит верзила.  
— К-к-каждый. И без шума!.. Ясно? — Уходит.  
— Братъ надо в шестьдесят первой... — подсказывает коренастый. — Только тихо...

— Вы не ошибаетесь? — Шапорина искренне изумлена.

— Нет, мадам, — Краузе прошелся по каюте, обдумывая неожиданно возникшую ситуацию. — Ха-ха. Обвел, так сказать, вокруг пальца! Вместо п-п-письма он принесет н-наркотики.

— Вы помешаете ему.

— На этот раз помогу. — Краузе торжествует. — Он достанет наркотики!

— И принесет ко мне..

— Увы, нет.. наркотики — это улика. Большевицкий курьер будет арестован.

Крадутся по коридору люди, посланные старпомом.

— Сюда, — прошипел «поганка», — каюта шестьдесят первая... — вытаскивает ключ.

Каюта раскрылась бесшумно.

Еле приметный луч фонаря обшаривает ее. Беспокойно спит подполковник. Вдруг раскрывает глаза. Вскрикивает.

Исчезает луч. В крошечной тьме слышны возня и удары, сдавленный крик. Распахивается дверь. Стремглав выбегают двое грабителей.

За ними в разорванной рубаше — подполковник. У него в руке кобура. Бегут по палубе. Верзила прячется. Преследователь теряет его из виду. Бросается за «поганкой». Догоняет. Не успевае вытащить револьвер. Тогда верзила выходит из укрытия и бьет подполковника кастетом по голове. Тот падает. «Поганка» пинает упавшего ногами, топчет его. Раненого переваливают за борт. Бандиты подбирают оброненный сверток.

— Человек за бортом!! — поднимает тревогу вахтенный.

Вспыхивают прожекторы. Шарят лучами. Подполковник висит над водой, чудом уцепившись за какой-то выступ.

На палубу сбежались матросы. Среди них суетится пара жуликов.

Испуганный вопль:

— Убили...

Петр и Арвид видят все сверху.

Матросы отгесняют от борта сбежавшихся пассажиров. Спускаются по канатам к пострадавшему.

Старпом глядит на часы. Стрелка приближается к 0.30.  
— Идиоты! — едва сдерживая себя, бросает он коре-  
настому. Крепкий кулак привычно ткнулся в физиономию. —  
На-азывается «без шума»! Самому надо было идти. Закан-  
чивайте дело!

Петр хватается Арвида за плечо:

— Гляди!.. Это они!

Стараясь быть неприметными, от толпы, образовавшейся  
на палубе, отделяются «поганка» и верзила.

Петр стремглав скатывается вниз.

Торопятся бандиты.

Еще одна лестница позади.

Выходит из толпы старпом, с ним два вооруженных  
матроса.

Издали наблюдает Арвид.

Петр вбегает в свою каюту.

Стук в дверь. В каюту юркает «поганка».

— Вот, держи, — протягивает сверток.

— Кокаин! Отлично... — Петр взвешивает пачку на ла-  
дони. Подходит к иллюминатору. Открывает его и... сверток  
летит в темноту.

В тот же миг в каюте появляются — старпом и воору-  
женные матросы.

— Ну что, господин русский? Так вы и слесарь и плот-  
ник...

— И лесоруб...

— И преступник. За н-незаконный про-овоз н-наркотиков  
вы арестованы.

— Это ошибка.

— Судьба-индейка... Так, кажется... — Краузе спокойно-  
язвительен. — О-обыскать!

Матросы не успевают приступить к выполнению приказа.  
Их останавливают.

— Господин Краузе, — шелестит «поганка». — Он вы-  
бросил... Только что...

— Болваны!

Шапорина поддерживает забинтованную голову подпол-  
ковника. Раненый лежит на полу посреди салона.

— Ну?! — почти кричит Шапорина, увидев старпома.

— Без изменений, — сквозь зубы отвечает Краузе.

— Состояние весьма тяжелое! — поднимается судовой  
врач.

— П-п-постарайтесь до-отянуть хотя бы до Нью-Йор-  
ка, — настойчиво говорит старпом.

— Я знаю... помню убийцу... его лицо... — Глаза под-  
полковника закрыты, он бредит, слова его неразборчивы. —  
Жить... хочу...

— Успокойтесь... вы еще п-поможете нам, подполковник.

«Авраам Линкольн» входит в Нью-Йоркский порт.  
Туман. Сквозь него еле пробиваются фонари маяков.  
Будто через толстый слой войлока, доносятся сильные гудки пароходов.

На палубе «Линкольна» напряженное ожидание.  
Все пассажиры выбрались сюда. Впереди чужой берег...  
неизвестное завтра.

Толпа эмигрантов выглядит жалкой.

Три метра до Америки...

Все сосредоточенно вглядываются.

Пришвартовались...

На борт поднимаются таможенники, офицеры в военно-морской форме, сотрудники разведки.

Капитан Джекобс встречает их на палубе, у трапа.

— Господин капитан, приготовьте команду и пассажиров к досмотру.

— Все готово.

— Превосходно.

— Вас проводят...

Перед столом на палубе выстраиваются две очереди: команда и пассажиры.

Начинается досмотр: вытряхивают вещи; подпарывают подкладку; обыскивают карманы; проверяют головные уборы; заставляют снять обувь; выворачивают бумажники. На стол вываливают книги, журналы, брошюры, записные книжки.

Заполняются приготовленные карточки: каждый оставляет отпечатки пальцев.

С одной стороны — команда.

В длинной шеренге — матросы, кочегары, здесь же Петр и Арвид.

С другой — медленно подвигаются пассажиры. Подавленная масса людей.

Капитан останавливает старпома, энергично направляющегося к представителям разведки.

— Господин Краузе, занимайтесь пассажирами.

— Есть дела поважнее.

— Я вызвал врачей, полицию.

— Это по-о-олитическая о-перация.

— Дешевая и опасная игра.

— Игра!.. Борьба... С-сильных людей. С-сильных н-наций.

Мир-р содрог-гнется, и н-не ме-ешайте, господин ка-апитан.

— Разве может леопард избавиться от пятен? — говорит Джекобс.

Краузе отстраняет капитана, идет к группе представителей морской разведки.

— Господа, — говорит он громко. — Произошло покушение на жизнь п-пасса-ажира.

— Он жив?

— К счастью, да.

Заострилось лицо Петра.

— Н-н-несите...

Как в хорошо отрепетированном спектакле, на палубу выходят четверо матросов с носилками. Подполковника сопровождает судовой врач.

Носилки проносят сначала вдоль очереди пассажиров, затем медленно двигаются мимо строя команды.

— Не похож?.. Здесь нет? Дальше... Не похож?..

Остановились перед Петром.

— Этог... — почти утвердительно говорит старпом. — Убийца.

— Да.

Офицер разведки:

— Свидетели?..

Раздвигая матросский строй, вперед выходят «поганка» и верзила.

Офицер морщится.

— Все?

Тишина.

— ...Отправить в полицию. Свидетелей тоже. Продолжайте досмотр... Господин старпом, благодарю.

— Этот человек не убийца...— Шапорина подошла вплотную к офицеру, говорит тихо, только ему: — Он русский, большевик... Фальшивые документы... Письмо Ленина... Оно на борту...

— Господа! — словно ток пронзил разведчика. — Этот человек — большевик. Высадка отменяется. Все остаются на борту. Корабль — в карантин.

Стало тихо до боли в ушах.

В следующий миг на Петра навалились, сдавили со всех сторон.

Петр еще пытается отбросить кого-то, вырваться, но руки уже в наручниках.

Петр оглянулся, пытаясь увидеть Арвида. Арвид быстро теряется в матросской толпе.

— Красный!.. — пронесся по палубе визгливый вопль.

Цепь матросов смята. Толпа бросилась на Петра... Так вот виновник их несчастья!..

— Назад! — разрубил воздух старпом. — Ни с места! Таможенники и полиция кидаются к толпе пассажиров, отталкивают их.

Петра волокут вниз.

Слякотная мгла окутывает корабль, моросит пронизывающий дождь.

На причале, у трапа тормозят грузовики.

Солдаты быстро поднимаются на палубу, занимают проходы.

С воем подкатывает санитарная карета.

По трапу спускаются таможенные чиновники, офицеры,

с ними Шапорина, четверо солдат с носилками: на них — подполковник.

Буксиры тянут корабль к другому причалу.

Пароход стоит в карантинной зоне порта. Ночь.

На причале — зыбкие огни фонарей. В их слабом свете — вдоль всего корпуса — полицейский кордон, в плащах, с дубинками и карабинами.

Издали ветер едва доносит шумы города.

Петр ходит по каюте.

«Неужто все рухнуло?!» — стучит в голове. Сцепились скованные руки.

Осторожный и настойчивый стук.

За иллюминатором! Что там?..

Снова... За толстым стеклом — спустившийся на канате Арвид.

Двумя сцепленными руками Петр пытается оттянуть створку иллюминатора. Не поддается. Арвид с другой стороны упирается в стекло ногами. Наконец иллюминатор открыт.

Протянув руки вперед, Петр пробует пролезть наружу...

У борта, обращенного к морю, висит на канате Арвид. Еще усилие... Он вытаскивает Петра.

Петр цепляется за иллюминатор.

Они спускаются. Все ниже, ниже. Небольшое расстояние отделяет их от покачивающейся баржи. Нацелились... Прыжок...

Бегут. Перебираются на другую баржу. Снова бегут. Останавливаются. Надо снять наручники... Арвид зажимает цепь в шестерни лебедки... Поворот. Хруст металла. Больно! Петр сжал зубы... Цепь разорвана.

Петр опускает рукава фуфайки, заправляет под них «бра-слеты» и обрывки цепи.

— Письмо... — хрипло, запекшимися губами шепчет Петр.

— Здесь... Вот...

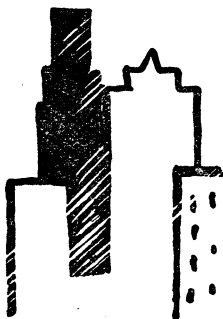
Они достают бумаги из жестяной коробки. Экземпляры ленинского письма. Один — у Арвида, другой — у Петра.

Снова бегут по баржам. Вот и причал. Прыгают на него. Пробираются вдоль пакгауза.

Идут к выходу из порта.

— ...Этот пропуск, — охранник небрежно возвращает картонку, — сдай в музей.

— Полгода не были, — тянет Петр.



— Отстань. Много вас тут всяких... — раздраженно бросает охранник и отворачивается.

— Дом-то рядом, у морского клуба, — вступает Арвид.

— Ведь сказали... — скучно сплевывает другой охранник.

— Хоть глотку промочить...

— Присосался... — охранник отвечает несколько мягче.

— Возьми залог, — говорит Петр, — вернемся через час.

Охранники перемигиваются.

— А не врешь?

— Ей-богу!

— Рокфеллер!.. — Теперь охраннику не терпится, чтобы сделка совершилась скорее. — Ну ладно, давай!..

Петр полез в карман. Протягивает золотую монету.

Рукав фуфайки задирается, открывая поблескивающий наручник.

Все мгновенно меняется.

Тревога!

Дула карабинов направлены в грудь Петра и Арвида.

— Руки!

Арвид медленно поднимает руки. Внезапно крепко хватается дула.

Уперев их в себя, он кричит:

— Беги!..

Охранники обескуражены.

Пытаются вырвать карабины, но Арвид навалился на них всей тяжестью тела.

Петр бросается в сторону. Прыгает через шлагбаум.

— Беги, беги!!

Охранники выкручивают дула. Мертвой хваткой держат их Арвид.

Раздаются выстрелы.

В Арвида вонзаются пули...

Подбегает на подмогу охране патруль. На ходу вскидывают карабины. Целятся в уже оседающего Арвида. Стреляют.

Бежит Петр. Оглянулся. Снова бежит.  
Выстрелы, свист, погоня.  
Петр бежит, падает, снова бежит, бежит...

Обессиленный, Петр падает в уголь.  
Наступая, двинулись на него: порт, причалы, дома, краны.  
Он вдавился в черные куски.

Над Петром с неистовым шумом проносится товарный поезд. Мелькают тени. Перестук колес превращается в дробный оглушающий грохот. Свист. Гудки. Выстрелы. Сирены.

Когда все стихло, Петр понял: спасен...

Холодный дождь льет не переставая. Он и не прекращался ни на секунду. Он шел все время. И тогда... Петр плачет, зарываясь лицом в уголь. Слезы сливаются с грязными потоками.

В кабинете департамента внутренних дел из-за просторного стола поднялся высокий человек.

— Ничтожества! Дали уйти! С письмом!..



На столе — смятый, истерзанный экземпляр ленинского письма, найденный у убитого Арвида. Шеф полиции Нью-Йорка хватает письмо.

Шеф в ярости, готов ткнуть эту бумагу в физиономию каждому. Перед ним — несколько человек.

— Письмо Ленина — бомба!.. И она уже в Нью-Йорке!..

— Взять под контроль...

Типографии.

Рабочие газеты.

Профсоюзы.

Телефон...

Из кабинета по одному стремительно удаляются сотрудники. Разъезжаются под звуки сирен и гудков автомобили, конная полиция занимает места, охрана патрулирует входы почт и телеграфов...

— Шеф, обратите внимание на Рида.

— Джон Рид? Правильно! Этого особо...

Грохочет типографский станок.

Мелькают полосы.

Станок резко останавливается. Заголовок: «Письмо к американским рабочим».

Газетный лист падает на кипу. Ее бросают на упакованные пачки газет. Связывают.

Газеты выносят из типографии.

Это действуют полицейские.

В типографии у стены стоят служащие, рабочие, наборщики.

Среди них — Джон Рид, ладный, широкоплечий.

Удар, удар.

Полиция разбивает станки. Выносят все, что можно вынести.

— Повторится — пойдете за решетку. Как преступники и шпионы, — бросает полицейский начальник — человек с бычьей шеей. Он решительно перешагивает через кипы газет, ящики, мешки. — А вы, мистер Рид... Рукопись вашу про Россию конфисковали! Бросьте это!

— Просить деревья не расти, рыб не плавать, птиц не летать!..

— Пожалуйста, мистер Рид, пишите. Америка — свободная страна.

— Свобода — это уважение к правам других, — язвительно заметил Рид.

«Бычья шея» оглядел опустевшее помещение и остановил взгляд на Риде.

— Красная пропаганда!

— К вашему сведению, — рассмеялся Рид, — это слова босоногого мексиканского мальчишки.

— «Уважение к правам»... Ваше право — гонорар.

— Карамба! — воскликнул Рид. Это его любимое словечко. — Продаться...

— Мистер Рид, мы предупредили... — «Бычья шея» по-

смотрел вокруг: посреди помещения разбитые станки. — А кроме того, не забывайте: предвыборная кампания. Мы не остановимся ни перед чем!.. — Он медленно прошел мимо служащих. — Мы еще наведемся.

Дверь за ним захлопнулась.

Луч фонарика осветил подвал... Несколько спасенных паек конфискованного номера... Настороженного Петра.

Рид, Петр и несколько рабочих быстро выходят к автомобилю, перекидывают в маленький кузов грузовичка пачки, тщательно прикрывая их рогожей, брезентом.

— Куда? — спросил Петр.

— Сначала в типографию «Класс Страгл». Успеем к утру... Несколько тысяч...

— Капля в море...

Мчится автомобиль по ночным улицам.

Уверенно ведет машину Рид. Взглянул на Петра, улыбнулся.

— Карамба! Я даже рад... — произносит он.

Это неожиданно.

— Рады? Чему?..

Рид молчит, что-то обдумывая.

И вдруг тормозит.

— Слушайте! Есть идея. В таких случаях полагается крикнуть: «Эврика!..» Мы идем к республиканцам...

— Та-ак... — Петр заинтересован.

— ...Они публикуют письмо... И каким тиражом!..

— Потребуется уйма денег...

— Ни цента!

Рид резко нажал на педаль акселератора. Мотор взревел. Машина круто развернулась.

— Послушайте, Джон. Но ведь это правда, правда о России, которую скрывают! Разве они пойдут на это?

— Они пойдут!.. — решительно сказал Рид. — Демократическая партия скрывает правду. Для республиканцев это козырь. Они воспользуются им, чтобы победить на выборах. Это же две банды!

Мчится автомобиль.

Мелькнула аптека. Рид и Петр выскакивают из машины.

Яркий свет.

За стойкой — парень.

Рид кидает монету.

— Два виски... и телефонную книгу...

Находит номер.

Пьют.

— Звоню.

— Давайте...

Рид набирает номер.

— Сенатор Райтсон?.. Это Джон Рид. Простите, поздно-вато... Ничего? Телефон в спальне?.. — Подмигивает Петру. — У меня тоже. Господин сенатор, есть дело чрезвычайной важности.

— ...Что там у вас? У меня мало времени. — Сенатор Райтсон, Рид, Петр стоят в кабинете ночного клуба. Приглушенно доносится музыка. Райтсон — высокий, сидящий мужчина. Решительные складки лица, узкие губы, нетерпеливые движения выдают человека напористого, злого, бывалого. Так и стоит он, не сняв шляпы и перчаток.

— Письмо... — отвечает Рид спокойно.

Петр открывает портфель, достает знаменитую жестяную коробку, а из нее письмо. Передает его Риду.

Рид берет бумаги.

— Письмо Ленина...

— О-о! — Сенатора бросило в жар. Снял шляпу. Садится. Читает: — «Письмо к американским рабочим». — Отшучивается: — Это не по адресу, — Читает дальше: «Товарищи...» — Разводит руками.

— Но они же ваши избиратели.

— Ха! Вы хитрый человек, мистер Рид.

— Ну, так как?

— Не торопите меня, мистер Рид... — Райтсон углубляется в чтение.

В зале шумно, накурено. На маленькой эстраде певица. В зал входят Шапорина, несколько мужчин. С ними



«Бычья шея». Они усаживаются за столик. Подходит официант.

— Они здесь... — говорит он тихо Шапориной.

— Сам я решить не могу. — Райтсон встает, аккуратно прячет письмо в боковой карман.

— Мы должны знать.

— Мистер Рид, никаких гарантий.

В кабинете появляется телохранитель сенатора.

Райтсон понял:

— Время.

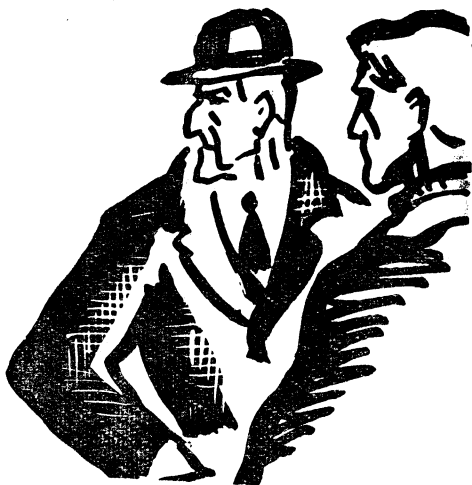
Рид, Петр, за ними сенатор Райтсон и сопровождающий выходят из кабинета в зал клуба. Идут к выходу.

— Вот он! — тихо говорит Шапориная «Бычьей шее».

Группа мужчин поднимается из-за столика, преграждая путь Риду, Петру и сенатору.

— Мистер Леднев, господин Мравин, «товарищ» Петр... Сobleговолите отдать письмо Ульянова... — она решительно протянула руку, — Ле-ни-на.

Петр поворачивается к Риду, как бы продолжая прерванную беседу.



— Отличный клуб, — улыбается Петр.  
— Самое веселое место...  
— Ну что ж! — Шапорина готова ко всему. — Попросим иначе...

Несколько человек шагнули к Петру. Пытаются выхватить портфель.

Официант подскакивает к Шапориной и стоящему рядом с ней «Бычьей шее».

— Не у него... у сенатора...

— Ах, вот что! — Шапорина смерила Петра взглядом. — Иуда! За сколько продали родину?..

Сенатор уверенно миновал зал. Он — почти в дверях.

— Остановитесь, мистер Райтсон... — Сенатор обернулся. — Вам придется иметь дело с представителями правительства... — процедил «Бычья шея».

— И что же? — Райтсон остро взглянул сквозь очки.

— Вы действуете на руку Советам!

Райтсон снял очки, небрежно сунул их в карман пиджака и только тогда ответил, глядя поверх всех, в никуда:

— Слушайте, вы, «представитель»... Правительство будет республиканским. Я уверен. А уж насчет Советов мы разберемся после выборов.

— Письмо!.. — повысил голос «Бычья шея».

Петр обернулся к Шапориной и как бы вскользь бросил:

— Ну, как насчет родины?..

Не отвечая, Шапорина вынимает из муфточки пистолет.

— Осмелитесь стрелять? — Райтсон почти насмешливо глядит на Шапорину. — Я сенатор!

— А хоть бы и президент! — «Бычья шея» тоже вынимает револьвер.

Выстрел.

«Бычья шея» падает ничком.

Шапорина не понимает, что произошло.

Паника. Посетители клуба, отталкивая друг друга, бросаются к выходам.

В дверях зала, у входов из-за кулис на сцену, у окон стоят люди с пистолетами. Сенатор окружен своими людьми. Райтсон говорит одному из них:

— Стрелять не следовало.

Телохранитель сенатора прячет револьвер. Отвечает спокойно:

— А мы-то при чем?.. — Показывает на вездесущих фоторепортеров, направивших объективы аппаратов на Шапорину. — Это дело эмигрантов... не так ли?

Сверкают магниевые вспышки.

«Руки прочь от России!..»

«Прекратить необъявленную войну!..»

«Народ Америки не будет воевать с Россией!»

Орет газетчик, размахивая пачкой свежих листов.

Он стоит у портовых ворот.

Люди берут свежие листы. Читают тут же.

Другой газетчик:

«Забастовка докеров. Пикеты рабочих».

«Рабочие отвечают Ленину: Колчак не получит оружия!»

У входа в порт — рабочие, докеры, грузчики. Сидят. Читают. Прохаживаются.

В порт не входят.

На ступеньке грузовичка сидит Петр. У его ног — вещевой мешок. Вид Петра говорит о том, что он собрался в далекую дорогу. Теплый свитер, шарф, крепкие ботинки.

Доносятся крики:

«Америка предлагает штыки. Русские — борьбу идёй...»

Петр поднимается. Переходит через улицу, добирается до газетчика. Бросает несколько монет, берет газеты.

«Письмо Ленина — по-прежнему сенсация номер один!»

Петр подходит к другому продавцу, в руках — уже целая пачка.

Неторопливо возвращается он к автомобилю. Усаживает на ступеньку. Развязывает мешок.

«Интернациональный долг рабочих Америки — помочь Советской России!..»

Петр аккуратно складывает газеты в мешок.

— Садись...

Петр видит: Рид влезает в кабину. Петр недоумевает.

— Иди, расскажу, — зовет Рид.

Петр подсаживается к Риду.

«Русские дети голодают. Прекратить блокаду!..» — доносится голос.

— Ну! В порядке? Когда отчаливаю? — нетерпеливо спрашивает Петр.

— Очень хочешь домой?

— Что случилось? — Петр встревожен.

— Моя книга выйдет месяца через два. Поедем тогда?

— Что случилось? Когда рейс?

— Рейса не будет. — Рид переполнен желанием рассказать о том, что узнал в порту. Говорит нарочито спокойно: — Карамба! Пароходы в Россию не идут...

И вдруг Петр срывает с головы кепку, натягивает на голову Рида до самого носа.

Когда Рид содрал кепку, автомобиль уже разворачивался.

Грузовичок выскочил на шоссе между портом и заводскими корпусами.

Портовые строения, доки, причалы, подъездные пути — все было безлюдно. Замерли краны. Стали паровозы. неподвижны корабли. Резкий ветер — полновластный хозяин путей и причалов.

Рид и Петр в кабине. Молчат. Встречаются взглядами, подмигивают. Заразительно смеются.

И вдруг в тишине возникает протяжный низкий гудок. Затем другой, третий. Гудят заводы. К ним присоединяются суда.

— Отвечает рабочая Америка! — Рид опускает стекло. Еще громче врываются в кабину гудки. Хохочут два счастливых человека.

### **Послесловие**

*В основе сценария «Курьер Кремля» лежат подлинные события. Осенью 1918 года тридцатилетний большевик П. И. Травин, преодолевая тысячи препятствий, доставил в США письмо В. И. Ленина американским рабочим.*

*Когда речь идет о произведении, касающемся истории, чаще всего спрашивают, передал ли автор то, что обычно называют правдой эпохи. В этом сценарии правда эпохи заключена прежде всего в его главной сюжетной линии. В XX веке — веке авиации и радио, телеграфа и телефона — письмо из Советской России, в котором не было ничего конспиративного, ничего тайного, ничего, кроме правды о нашей революции, можно было доставить в Америку только таким «доисторическим» способом.*

*Молодая Советская республика была блокирована. Правда о русской революции с трудом пробивалась сквозь поистине «железный занавес», которым окружили нашу страну интервенты. В этих условиях Ленин считал одной из важнейших задач рассказать пролетариям мира о событиях в молодой Советской стране. Ленин верил в силу интернациональной пролетарской солидарности. И он не ошибся.*

*Одним из посланцев Советской республики стал Петр Иванович Травин. Его «поездка» была сопряжена со смертельным риском, так же как и попытка говорить в Соединенных Штатах правду о России... В биографии многих участников революционных событий был подобный эпизод-подвиг, ставший как бы наивысшей точкой всей их жизни. В сценарии «Курьер Кремля», выражаясь гайдаровским языком, главное — обыкновенная биография в необыкновенное время. В центре событий — настоящий герой. Умный, смелый, решительный и обаятельный. Где надо — он выдержан, рассудителен и тут же — отчаянно храбр и мужествен. Характер ленинского пос-*

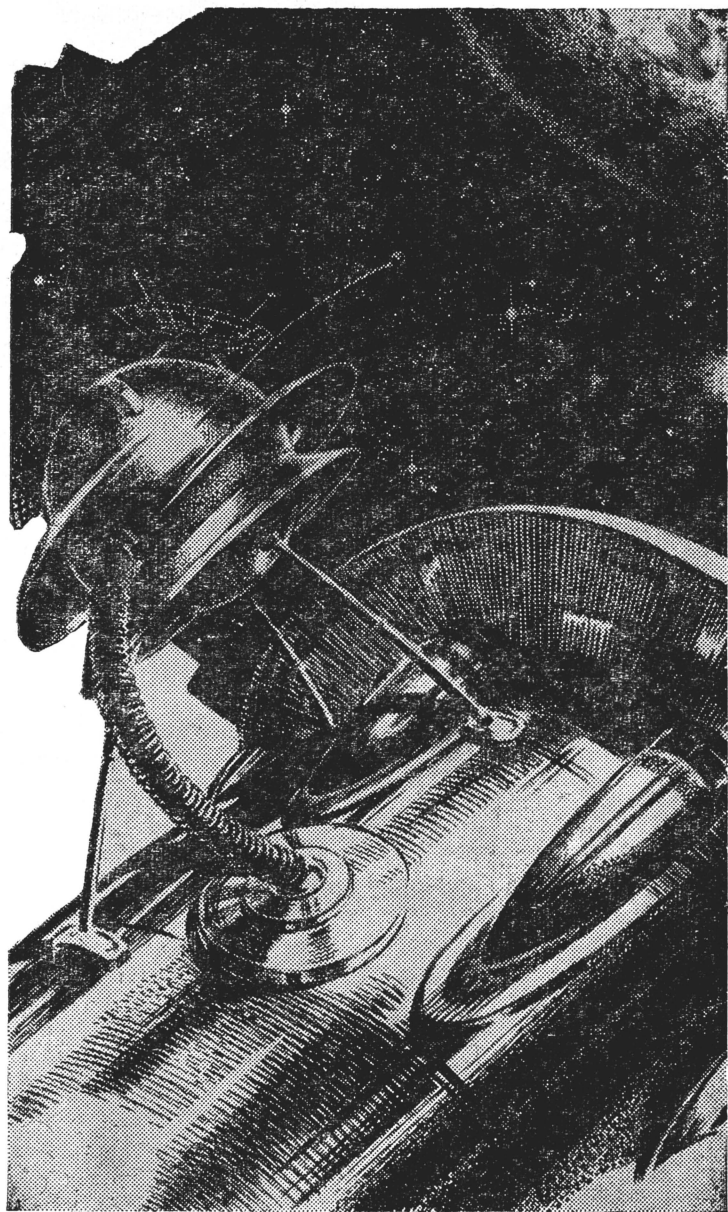
ланца, его мысли и поступки разворачиваются в необычайно сложных обстоятельствах, и он сам начинает воздействовать на них, подчинять их себе.

Взяв за основу события, связанные с миссией П. И. Травина, авторы не превращают экранное повествование в иллюстрацию к историческим событиям. В сценарии важны и документальная основа и главные смысловые акценты, не утерявшие своего актуального звучания в наше время. В те далекие дни огонь освободительной войны пылал в России. Нагло и грубо вмешиваясь в нашу внутреннюю жизнь, интервенты пытались навязать свою волю, помочь восстановлению рухнувшего режима. Сегодня очаги народно-освободительных войн возникают в разных местах земного шара. И так же как пятьдесят лет назад, грузятся войска и оружие на корабли американских и иных оккупантов. И так же как пятьдесят лет назад, через материки и океаны протягивается крепкая рука дружеской пролетарской солидарности. Тогда трудящихся России поддержали их зарубежные братья. Теперь советские люди выполняют свой интернациональный долг по отношению к борющимся народам.

Привлекает жанр сценария. Приключения героя фильма захватывают, читатель становится их участником. В сценарии действуют как подлинными героями событий, так и вымышленные авторами персонажи. Но во всех случаях они имеют своих прототипов, характеры их разработаны подробно, психологически достоверно.

Очень важна в этом сценарии его ленинская линия. Мы не видим Владимира Ильича непосредственно на экране. Но образ Ленина, сила его мысли, заразительность идей, революционный их ток, обаяние личности вождя революции присутствуют в людях и событиях, о которых прочел читатель.

**Вл. ЛОГИНОВ,**  
старший научный сотрудник  
ИМЛ при ЦК КПСС



Рисунки Ю. МАКАРОВА

# ВАХТА

# „АРАМИСА“

*Фантастическая повесть*

## I. НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

**Б**ыл конец августа, когда не пала еще на траву непрозрачная бисерная изморозь, но уже отовсюду, и вдоль и поперек, тянулись ощутимые лишь руками да лицом — когда попадут невзначай — паутинки, накрученные и на-верченные по всему лесу толстопузыми травяными паучками. В лесу было прохладно и несолнечно, но не было еще в природе той щедрой, разгульной пышности, когда каждое дерево в неумном стремлении догореть раньше всех полыхает самой буйной, самой звенящей рыжестью. Увядание еще не пришло, но в чем-то невидном и неслышном сквозила тихая грусть примирения с грядущим этим увяданьем.

Тропинка выходила на опушку. Ираида Васильевна задержала шаг и свернула правее, где сбегали с поросших сосною невысоких холмов серебристые оползни оленьего мха. Но внизу, в ольшанике, темнела канава, полная до краев зеленоватой кашицы ряски.

Ираида Васильевна кротко вздохнула и вернулась на тропинку.

За спиной безмятежно, по-весеннему, запела малиновка. Был конец августа, вечерело, и никто еще не догадывался о том, что скоро случится.

Печатается в сокращении.

Тропинка привела Ираиду Васильевну к самому краю футбольного поля, где, как на моментальной стереофотографии, застыли в самых неожиданных позах металластые фигуры кибер-игроков, а в самом центре кучка мальчишек разрешала какой-то игровой конфликт.

— Митя-а! К тебе мама пришла-а! — раздался звонкий голос.

Митька сожалительно посмотрел на мяч и, махая на бегу запасному: подай, мол, за меня, раз тебе такое счастье, — помчался к опушке, где терпеливо стояла Ираида Васильевна.

— Что? Уже? — спросил он, переводя дух и поматывая головой.

— Отдышись... Уже.

— С нашей взлетной? Лагерной?

— С вашей, сынуля. С вашей.

— Я тебя провожу, а?

— Спросись только.

— Я знаю — можно.

На взлетной было пусто — вечерний рейсовый мобиль еще не прибыл. По площадке лениво трусил Квантик, приبلудный дворника чистейших кровей. А у самой бетонной стенки, бросив на траву невероятно яркий плащ, лежала невероятно большая женщина с копной невероятно черных, отливающих синевой волос.

— Тетя Симона! — крикнул мальчик и побежал к ней.

Симона подняла руку, и помахала ему, и, глядя не на него, а над собой, на кончики своих пальцев, которые летали вверх от одного облака до другого, так же звонко крикнула в ответ:

— Салюд, ребенок!

Митька плюхнулся рядом с ней и вытянул ноги.

— Ну и как? — спросила Симона, закидывая руки за голову.

— А все так же, — сердито отозвался Митька. — Второго судью за эту неделю. И все пятый «Б».

— Умелые руки. Ну, а вы?

— Мы — ничего. Мы не портим. Мы же знаем, сколько труда нужно затратить, чтобы создать один такой кибер, — важно проговорил мальчик и косо глянул на Симону, ожидая, что похвалят.

— Фантазии у вас не хватает, вот что, — сказала Симона. — Явление тяжелое и в наши дни — редкое. Добрый вечер, Ираида Васильевна. Садитесь.

Ираида Васильевна кивнула, но на траву не села — было сыровато или просто постеснялась. Митька, опустив голову, запихивал травинки в дырочки сандалий.

— Ничего не не хватает, — сказал он хмуро. Симона засмеялась. — Просто мы не хотим.

— Митя, не трагай руками сандалики, — заметила Ираида Васильевна.

Митька сердито глянул на мать и подтянул колени к подбородку.

— Ну, а вы? — спросил он с вызовом. — Ну, а вы-то? Когда были в пятом?

«Задира», — подумала Симона и тоже села, так что получи-

лось — нос к носу. Митька смотрел на нее в упор своими чуть раскосыми, как у матери, сердитыми до какой-то зеленоватой черноты глазами.

«Какие странные, совсем не славянские типы лица встречаются иногда у этих русских, — думала Симона, глядя на мальчика. — Этот неуловимый взлет каждой черты куда-то к вискам... Это от тех, что шли великой войной на эту страну около тысячи лет тому назад и маленькими смуглыми руками хватали за косы больших русских женщин... А этот мальчик взял от тех диких кочевников только самое лучшее, потому что если природа хранит и передает из поколения в поколение какие-то черты, то лишь потому, что они стоят этого».

Митька дрогнул ноздрями, нетерпеливо засопел. Рассказать бы этому дикаренышу...

— Честно говоря, — проговорила Симона, — я не помню толком, что было именно в пятом. Помню только наш город. Нант. Проходил? Летний полосатый город, весь в тентах и маркизах. — Симона снова улеглась на спину, полузакрыла глаза и стала смотреть на небо сквозь длинные прямые ресницы. — Вот сказала тебе: Нант, и сразу все небо стало полосатым — такие бледные желтые и чуть голубоватые полосы... Подкрадется кто-нибудь, дернет за шнурок — и все эти полосы начнут медленно-медленно падать на лицо...

— Тетя Симона, — сказал мальчик, — вы не хотите улетать с Земли, да?

Симона быстро посмотрела на него.

— А ты знаешь, что такое — улететь?

— Это значит — подняться в воздух.

— И нет. Это значит сказать: «Ну, поехали», — и больше не быть на Земле. А ты знаешь, что такое — Земля?

Мальчик посмотрел на нее. Симона раскинула руки и набрала полные горсти травы; трава, смятая сильными ладонями, терпко и непонятно запахла.

— Знаю, — сказал Митька и еще раз посмотрел на нее — до чего же огромная, как две мамы сразу. — Земля — это очень-очень большое, но все-таки «Арамис» — это не Земля.

Симона усмехнулась.

— Знает, — она поднесла ладони к глазам — трава оставила резкие белые и красные полосы. — Ну, а самое главное: что такое — хотеть?

Митька смотрел круглыми глазами и молчал.

Ираида Васильевна испытывала какое-то мучительное ощущение, как будто эта женщина делала с ее сыном что-то не приятное у людей, словно она поставила его голышом на свою огромную ладонь и не то сама рассматривает, не то показывает его самому себе в зеркало.

— Ну ладно, — сказала Симона примирительно, угадывая мысли Ираиды Васильевны. — Не знаешь — потом узнаешь. А улетать с Земли мне действительно не хочется: уж больно она громадная, не везде порядок. Вот приложить бы руки...

— Как это — не везде порядок? — подскокил Митька. — Ведь в Америке и то социализм.

— Нет там еще социализма, — спокойно сказала Симона. — В этой стране вообще любили по части лозунгов несколько забе-

гать вперед. Например, провозгласили всеобщее равенство, а сами потом еще два столетия негров вешали, пока не вспыхнула негритянская революция. А знаменитая демократия... Словом, про социализм это только они сами говорят. Нет там его. Пока.

— Значит, скоро революция? Вот здорово! Я бы хотел — добровольцем! Только ведь не пустят...

— Вот не могу тебе пообещать определенно. Но ты не горюй — мы ведь еще до звезд не добрались. Пока только свою солнечную приводим в порядок. А представляешь себе, сколько проблем прибавится, когда свяжемся с другими планетами? Ведь там еще столько революций впереди! Прилетишь к каким-нибудь таукитянам или альфаэриданцам — а у них рабовладение. Или первобытное общество.

— Как у наших венериан?

— Вот, вот. Только Венера, наверное, теперь уже обойдется без революций.

— Жалко, — вырвалось у Митьки.

— Жалко, — согласилась Симона. — Такое удовольствие — подраться, когда это официально разрешается.

Ираида Васильевна закашляла.

— Мама, — сказал Митька, — ты не волнуйся, я же понимаю, что тетя Симона все шутит.

— Ну и последний вопрос: сколько будет пятью пять?

— Это как посмотреть, — сказал Митька, потому что этой тете нельзя было отвечать, как в школе. — Если в десятичной системе и на Земле, то двадцать пять.

Симона опять рассмеялась.

— А в другой галактике? На Сенсерионе, скажем?

— Это надо подумать, — солидно сказал Митька.

— Ну вот, — Симона сделала руками: «ну вот», — ему надо подумать, а вы все чего-то боитесь. И вообще мобиль летит. Она легко поднялась.

— Ну, сынуля... — сказала Ираида Васильевна и, опустив руки, вся как-то наклонилась и подалась вперед.

Митька простодушно повис у нее на шее, чмокнул где-то возле уха. Потом смутился и боком-боком пошел к Симоне.

— Ну, человеческий детеныш, следи тут без нас за Землей, чтобы порядок был. А до венериан мы с тобой еще доберемся... Кстати, какое банальное название — «венериане». Придумали бы что-нибудь пофантастичнее.

— Венеряки, — сказал Митька и фыркнул.

— Было, — отпарировала Симона. — И венеты — было. Венерианцы — вообще не идет.

— Венякий, — предложил Митька. — Венусяки. Веники.

— О! — сказала Симона. — Проблеск имеется, — и тихонечко скосила глаза на Ираиду Васильевну — та стояла, полувзглядывая глаза, и лицо ее приняло такое скорбное выражение, что Симона чуть было не фыркнула совсем по-Митькиному.

— И-нер-ти-ды, — по слогу произнес Митька, тоже поглядывший на мать и сразу же ставший серьезным. — Это потому, что они инертными газами дышат.

— Кто тебе сказал эту глупость? — устало проговорила Ираида Васильевна. — Венериане, как и мы, дышат кислородом. Инертные газы не могут участвовать в процессе обмена веществ.

— Неинтересно, — со вздохом проговорил Митька.

Симоне стало как-то обидно за него и за венериан вместе. Она протянула мальчику широкую, все еще в белых и розовых полосочках ладонь.

— Не горюй, тем более что с этими инертными газами и в самом деле что-то нечисто. Американцы сейчас над этим бьются. Не исключено, что и откроют что-нибудь интересное. Ну, салют.

Митька благодарно взглянул на нее и тоже протянул смуглую, всю в царапинах руку. Сунул жесткую ладонку лодочкой — и тут же потянул обратно.

— Счастливого пути, тетя Симона. И спокойной работы...

Симона усмехнулась, тряхнула головой и легонько щелкнула мальчика по носу.

— Заврался, братец. Спокойной... Приключени-ев! Происшестви-ев! Стр-р-рашных притом. Космические пираты, абордаж, таран, гравитационные торпеды к бою!

— Все сразу? — невинно спросил Митька.

— Только так. — Симона оглянулась на Ираиду Васильевну и неожиданно шепнула: — Почаще вызывай маму... Длинный фон у нас освобождается после девяти.

Мальчик отступил на несколько шагов, стащил с головы шапочку-пилотку и стал ею махать. Мобиль задрал вверх свой острый прозрачный нос и полез высоко в небо.



## II. ДОМОЙ, НА «АРАМИС»

Уже совсем стемнело, и сквозь дымчатое брюхо мобиля было видно, как медленно возникают и так же медленно отступают назад и растворяются в темноте плавно изгибающиеся цепи мерцающих земных огней.

— Аюрюпинская дуга, — сказала Симона, чтобы оборвать их бесконечный, не в первый раз начатый и не в первый раз кончающийся вот так, лишь бы кончить, разговор. — Значит, через двадцать минут — Душанбинский космопорт.

— И все-таки, — упрямо продолжала Ираида Васильевна, — и все-таки разве вам не пришло в голову, что Митя ответил так только потому, что с ним говорили именно вы? Ведь во всех других вариантах — со всеми остальными людьми на Земле — он ограничился бы элементарным ответом. Вы не учите его мыслить — вы учите его оригинальничать, и еще учите его выбирать людей, с которыми приятно пооригинальничать, и еще дадите ему почувствовать свое одобрение. Разве вы не знаете, как он ценит малейшее ваше расположение? Да в следующий раз он будет готов отрицать, что дважды два — четыре, лишь бы только угодить вам.

Симона вдруг представила себя и Митьку, сидящих нос к носу у бетонной стенки взлетной площадки. И Ираиду Васильевну, сиротливо стоящую как-то сбоку от них. «Ревнует она его ко мне, что ли? — подумала Симона. — Ну и пусть, сама виновата». А Ираида Васильевна продолжала говорить, словно сейчас, здесь, в рейсовом мобиле, на подлете к Душанбинскому космопорту, можно было заставить Симону изменить свои взгляды на воспитание детей вообще и Митьки — в частности.

«Мы просто говорим на разных языках, — с тоской думала Симона. — «Учет возраста», «логическое переосмысление понятий в детском аспекте», бр-р-рр... Ей кажется, что все учтено».

— Можно ли, — продолжала Ираида Васильевна, — пятикласснику объяснить все особенности политического строя Америки? Мы с вами прекрасно понимаем, что пресловутый «кибернетический социализм» — фикция. Но это ясно нам, знающим историю развития общества. А что вынес из вашей беседы Митя? Боюсь, что одно: недоверие к самому слову «социализм». Он не понял, что в Америке на самом деле доживает последняя стадия капитализма; для него теперь существует «хороший социализм» — какой был в нашей стране, и «плохой социализм» — как сейчас в Америке. Вот чего вы добились. А ведь через каких-нибудь два года он будет проходить все это в школе, и ему немалых трудов будет стоить борьба с собственными неверными представлениями, которые складываются вот из таких случайных бесед.

Симоне вдруг стало мучительно жаль эту женщину со всей ее формальной правотой, которая рано или поздно может оттолкнуть Митьку от нее.

— Да, наверное, вы правы, — примирительно сказала она. — У меня еще слишком свежи воспоминания о нашем нантском коллеже. И знаете, о чем я мечтала в Митькином возрасте? Попасть на самый настоящий античный пир. Представляете такую фантазию? — Симона прикрыла глаза и ясно представила себе черного, обожженного Агеева, каким она впервые увидела его после катастрофы на этой чертовой голубой сигаре «Суар де Пари».

«Я знаю, что она мне сейчас возразит, и она будет, как всег-

да, формально права, права обидной правотой азбучных истин. А истина все равно будет не на моей и не на ее, а на третьей, Митькиной, стороне: потому что даже я при всем желании не могу до конца быть такой, как он, хотя мне все время кажется, что я еще мальчишка, первый озорник нантского политехнического коллежа. И она сейчас авторитетно заявит, что...»

И действительно, Ираида Васильевна ответила, как ожидала Симона:

— Современная школа может воспитать полноценного и развитого ребенка, не ущемляя его тяги к самостоятельной романтике.

— Ну и хорошо, — устало отозвалась Симона. — Следовательно, нечего беспокоиться за судьбу мальчишки, даже если с нами случится какое-нибудь там чудо.

Ираида Васильевна наклонилась вниз и стала смотреть на быстро несущиеся навстречу игрушечные домики космопорта.

То, что эта большая, славная и не всегда тактичная в своей нерусской живости женщина назвала «каким-нибудь чудом», случилось совсем недавно, каких-нибудь десять лет назад, с Митькиным отцом, и еще пройдет десять раз по десять лет, и каждый раз, когда вспомнится, вот так же захочется согнуться и спрятаться от всех от них, даже таких, как Симона, и остаться один на один со своей болью.

— Ну вот и прилетели, — сказала Ираида Васильевна.

— Ага, — отозвалась Симона. — А вон там, в красном, кажется, наша Ада.

Мобиль подрулил прямо к длинному, похожему на пляжную раздевалку, зданию космопорта. Ираида Васильевна немножко задержалась, успокаиваясь, и неторопливо сошла по маленькой лесенке-трапу на бетонированное поле.

Вокруг Симоны уже стояла небольшая толпа: голубые комбинезоны Международной службы — Душанбинский космодром был предоставлен в ее распоряжение — вперемежку с пестрыми летными костюмами — по всей вероятности, это уже собирались пассажиры, которые утром должны были лететь на «Первую Козырева».

Черная лохматая голова Симоны возвышалась над всеми. Нередко в каком-нибудь затейливом жесте взлетали ее большие и легкие руки.

— Симона, здравствуй! — послышался звонкий девичий голос, и Ираида Васильевна увидела Аду, только она была не в красном, а в строгом светло-сером костюме.

Симона вскинула руку и, увидав подходящую Ираиду Васильевну, крикнула:

— Девочки, девочки, мы имеем начальника!

Ада обернулась и пошла навстречу Ираиде Васильевне, и тут же из толпы высунулась смуглая мордочка Паолы и улыбнулась так искренне и, как всегда, по-своему застенчиво, что чувство одиночества ушло, и Ираида Васильевна тихонько сказала: «Ну вот...» — как обычно говорят: «Ну вот я и дома».

Паола, в какой-то нелепой красной курточке, которая еще

больше делала ее похожей на обезьянку, вприпрыжку побежала к Ираиде Васильевне, обгоняя Аду и Симону.

— Как славно, Паша, что ты с нами, — сказала Ираида Васильевна. — Только что ж ты не со своего космодрома?

— У нас будет ракета только в четверг, — сказала Паола и покраснела.

Все посмотрели на Паолу и улыбнулись, потому что было ясно: к Земле подходит «Бригантина».

На «Первой Козырева» просидели полдня — Холяев, железный человек и бессменный начальник, никак не хотел выпускать их на одной патрульной ракете: ее грузоподъемность не превышала двухсот пятидесяти килограммов. Симона виновато притаилась в уголке салона, ибо не в первый раз всему виной были ее габариты. В конце концов она сама направилась к Холяеву, чтобы найти компромиссное решение, и не прошло десяти минут, как она вернулась и объявила, что начальник разрешает взять не патрульную, а буксирную ракету, поэтому все поместятся и смогут сегодня же сменить персонал, замещавший их на время отпусков. Паола радовалась молча, потому что на носу был подход «Бригантины» и ей пришлось мчаться через океан, чтобы лететь с русскими. Симону, бывшую замужем за знаменитым Агеевым, она тоже считала русской. Симона тоже так считала и только иногда, когда логвила себя на невольном: «эти русские», — вдруг не то чтобы огорчалась, а скорее удивлялась.

Сегодня у всех вертелся на языке вопрос: удалась ли Симона во время короткого отдыха на Земле связаться с кораблем Агеева? Но Симона ничего не говорила, а по какой-то молчаливой договоренности никто не задавал вопросов о тех, кто находился в полете.

Не спрашивали об Агееве; не спрашивали о «Кара-Бугазе», на котором штурман Сайкин — с некоторых пор Ада начала его называть «мой Сайкин» — ходил к Марсу и обратно довольно регулярно; не спрашивали и о «Бригантине» — впрочем, о ее подходе всем уже было известно.

И никогда не спрашивали Ираиду Васильевну. Ни о чем.

А чтобы не почувствовала она, что ее обходит молчанием как-то по-особенному, Симона шутила: «Королям и начальникам космических станций вопросов не задают».

И тогда Ираиде Васильевне хотелось нагнуться, как тогда, в мобиле.

Собственно говоря, небольшой искусственный спутник, которым командовала Ираида Васильевна, не был самостоятельной космической станцией, как гигантская «Первая Козырева», предназначенная для приема кораблей, крейсировавших между искусственными спутниками Земли, Марса, Венеры и Сатурна, а также планетолетов-разведчиков, ходивших в сверхдальние рейсы с научно-исследовательскими целями. Еще давно, когда космическое пространство только начинало осваиваться, было создано около десятка сверхмощных ракет, способных преодолевать расстояние между планетами с одновременной посадкой на них. Но потом перешли к созданию кораблей двух типов: одни, меж-

планетные, летали только в Пространстве, другие, маленькие, словно муравьи, перетаскивали на Землю все то, что доставлялось межпланетчиками на промежуточные околоземельные станции.

«Муравьи», как их прозвали и даже стали официально именовать, имели строго ограниченные зоны посадки. Огромная сеть радарных установок службы космоса немедленно засекала бы любого «муравья», если бы он попытался сесть в какой-нибудь неотведенной зоне.

Такие меры действительно были необходимы, и не только потому, что бесконтрольный вывоз сокровищ с других планет противоречил принципам, согласованным между странами. Биологическая угроза, которая неминуемо нависла бы над Землей в случае хаотических межпланетных рейсов, тоже была немаловажным фактором.

Но основным камнем преткновения были венериане.

Земное человечество не могло прийти пока к единому мнению: как же помочь совсем недавно возникшему человечеству Венеры?

Особая конвенция ограничила до минимума полеты на эту планету, категорически запретила вступать в контакт с венерианцами впредь до составления единой четкой программы взаимоотношений с ними.

Несколько лет система околопланетных станций вполне оправдывала себя, и космическое строительство было направлено исключительно на увеличение количества межпланетных грузовиков и «муравьев». Ракеты прибывали непосредственно на космические станции, где проходили карантин, проверку двигателей и досмотр грузов сотрудниками Международной службы. Но однажды почти одновременно на «Первой Козырева» весь персонал, а также экипажи трех швартовавшихся ракет были поражены цестой ариоброй, занесенной, по-видимому, с Марса; а «Линкольн Стар» едва не погиб от взрыва вышедшей из управления ракеты, которую вовремя не успели отвести подальше. Тогда-то и было решено около каждой космической станции создать группу вспомогательных спутников, играющих роль та-можен.

Несмотря на то, что такие сооружения обычно создавались объединенными силами космических держав, строительство станций вокруг «Первой Козырева» почти целиком осуществлялось французскими инженерами. Вероятно, это было просто случайностью и ни в коей мере не отразилось ни на технической оснащенности, ни тем более на комфортабельности станций.

Зато названы они были по-французски: «Атос», «Портос» и «Арамис».

«Атос», самый малый из этой группы спутников, принимал пассажирские ракеты; «Портос» — грузовики; «Арамис» же, как наиболее оснащенная станция, был универсальным и поэтому контролировал нетиповые, очень устарелые или, наоборот, совершенно новые грузо-пассажирские и исследовательские корабли.

Подходившая «Бригантина» была из числа новейших американских моделей.

### III. ДЕЛА ДОМАШНИЕ

Пол под ногами слегка дрогнул: это значило, что буксирная ракета отошла от «Арамиса». Симона поколдовала еще немного у пульта — Паола знала, что это убираются трапы, соединяющие ракету со станцией. Симона включила экран обозрения, и все принялись искать крохотную удаляющуюся звездочку. Паола покрутила головой, но не нашла. Ракета была небольшой, шла почти без груза — увозила всего четырех человек и кое-какие их вещи, и поэтому, пока включили экран, она была уже далеко. Ираида Васильевна и Ада смотрели внимательно — наверное, они-то ее видели. Паола повернулась, пошла к двери и услышала, что Симона тоже поднимается. Если Симона вставала или садилась, то это было слышно в каждом уголке станции.

— Ну вот, — сказала Ираида Васильевна — она очень любила это «ну вот» и даже Симону приучила, — теперь, девочки, до следующего отпуска.

Навстречу по коридору полз «гном» с коричневыми плитками аккумуляторов. Паола подставила ему ногу. «Гном» подпрыгнул и шарахнулся в сторону. «У, тварь окаянная», — с ненавистью подумала Паола.

— Ну вот, — сказала за спиной Ираида Васильевна, — а теперь будем чай пить.

Паола тряхнула кудрявой головой и помчалась на кухню.

— Сколько по-нашему? — спросила Паола.

— Двадцать сорок две, — ответила Симона, и Паола перевела часы: «Атос», «Портос», «Арамис» и «Первая Козырева» отсчитывали время по Москве. — А теперь попрошу минуточку внимания. Мои пироги!

— Ваши пироги? — поразилась Ираида Васильевна. — Я допускаю, что вы можете собственноручно смонтировать универсального робота, но испечь пирожок...

— Знают ведь, — засмеялась Симона, — как облупленную знают. Ну, признаюсь. Не я. Мама. Сунула на космодроме.

Мама — это была не совсем мама. Это была мать Николая Агеева. Все невольно перестали жевать.

— Ешьте, мадам-мсье, ешьте, — сказала Симона. — Связь была.

И каждому показалось, что именно это и было самым главным за последние несколько дней. Вот это далеко не достоверное известие, что агеевцы живы.

— Приняли целых полслова: «получ...». По всей вероятности, «благополучно».

— Строго определяя, это не связь, а хамство, — сказала Ада. Ираида Васильевна улыбнулась и кивнула: ну конечно же —

«благополучно». Другого и быть не может. Для таких людей, как Симона и Николай Агеев, все всегда кончается благополучно. Потому что они умеют верить в это неизменное «благополучно». И хотя сидящие за столом перебирают сейчас десятки слов, которые могли быть на месте коротенького всплеска, чудом принятого Землей, — все равно для Симоны из всех этих слов существует только одно.

«Если бы так было с ними... — думала Паола, подпершись кулачком, — если бы два года не было связи с «Бригантиной»...

— Чай стынет, — сказала Симона. — Можно приниматься за пироги.

— С чем бы это? — полюбопытствовала Ираида Васильевна. — Настоящие русские. Посконные. Что, я не так сказала? — Симона умудрялась выискивать где-то совершенно невероятные слова. — Вот убедитесь. С грибами и с вязигой.

— Да, — задумчиво сказала Ада, — эпоха контрабанды на таможенной станции. И много их там у тебя?

— Хватит, — сказала Симона и ткнула кнопку вызова дежурного робота. — Надо припрятать на черный день — имею в виду гостей.

Дверь приподнялась, вкатился «гном». Он бесшумно скользнул к Симоне и остановился, подняв свой вогнутый, словно хлебная корзиночка, багажник. Симона принялась перегружать туда свои пакеты.

— Снесешь в холодильник, киса, — приговаривала она вполголоса, — да чтобы через неделю можно было достать, не раскапывая лопатой... А то всегда завалишь.

Паолу немного раздражала манера Симоны говорить с роботами. Ну зачем это, если они все равно ничего не слышат?

Видно, и Симона думала о том же.

— Эх ты, черепаха навыворот! И когда я вас переведу на диктофоны? — Она нагнулась и стала набирать шифр приказа. — Говоришь с ним, как с человеком, а он... Кстати, какой у нас номер очереди на универсальный?

Паола вскочила.

— Я сама.

Схватила пакеты в охапку, побежала на кухню. Универсальный...

Когда-нибудь его доставят на станцию, и тогда — «благодарю вас, мисс, но услуги стюардессы на станции больше не нужны».

Паола вернулась к столу, села, пригорюнившись, — одной рукой подперла подбородок, другой поглаживала скатерть.

— Ну что, Паша, взгрустнулось? — Ираида Васильевна наклонила голову, одним глазом глянула Паоле в лицо. — Или может, облепилась за отпуск? Работа в тягость?

— Да разве я работаю? Смеетесь! — Паола судорожно сдержала руки со скатерти, под столом стиснула кулачки. — Разве так должна работать стюардесса? Вот на пассажирских ракетах, если что случается — стюардесса разве с командой? А? Она с пассажирами. До самого конца.

— Еще ни на одной пассажирской ракете «до самого конца» не доходило, — улынулась Ада.

— Я, конечно, мало что могу, но ведь главное, чтобы люди чувствовали — о них заботятся, с ними рядом живой человек, а не такой вот паразит, — Паола кивнула на «гнома», все еще покачивавшегося за креслом Симоны.

Симона взорвалась.

— Прелестно! Господа, бумагу мне с золотым обрезом и лебединое перо. Мы пишем рекомендацию мисс Паоле Пинкстоун на предмет ее перехода на рейсовую космоторассу. И чтоб там без паразитов. Мисс не выносит представителей металлургической расы.

«Ну зачем она так? — подумала Ираида Васильевна. — Она же знает, что на пассажирские ракеты берут только самых хороших... Даже у нас. Уж такая традиция».

— Трогательно, — сказала Ада, — а мы, выходит, не люди? Нам не нужно человеческой заботы?

Паола вспыхнула.

— Ох, глупости вы все говорите!

Ираида Васильевна подошла к Паоле, тяжело опустила руки ей на плечи.

— Счастливая ты, Паша.

Паола вскинула на нее глаза, но Ираида Васильевна молчала, да говорить и не надо было, все и так поняли, что, собственно говоря, осталось досказать: «Счастливая ты — тебе есть кого ждать». Все это поняли, и наступила не просто тишина, а тишина неловкая, нехорошая, которую нужно поскорее оборвать, но никто этого не делал, потому что в таких случаях что ни скажешь — все окажется не к месту и всем на первых порах станет еще более неловко. И только потом, спустя несколько минут, все сделают вид, что забыли.

— А знаешь, откуда твое счастье? — Ираида Васильевна стряхнула с себя эту проклятую тишину, но не захотела, вовсе не захотела, чтобы все забывали, и улыбнулась грустно, сложила руки лодочкой и поднесла их к уху, словно в них было что-то спрятано, малюсенькое такое. — Вот когда мы были маленькими, играли в «белый камень»:

Белый камень у меня, у меня,  
Говорите на меня, на меня,  
Кто смеется — у того, у того,  
Говорите на того, на того...

— И какие льготы предоставляло наличие белого камня? — осведомилась Ада.

— Уж не помню... Вроде счастье какое-то.

— Да... — задумчиво сказала Паола. — До счастья я немножко не дотянула. Пинкстоун — это не белый камень.

— Все равно, — сказала Ираида Васильевна, — все едино — счастье, — и улыбнулась такой щедрой, славной улыбкой, будто сама раздавала счастье и протягивала его Паоле: «На, глупенькая, держи, все тебе — большое, тяжелое»; а та боялась, не брала, приходилось уговаривать.

— Вызов, — сказала Симона и резко поднялась.

Все пошли в центральную рубку. Паола собрала со стола, понесла сама — здесь, с половинной силой тяжести, все казалось совсем невесомым. Шла, мурлыкая, песенка прилипла:

Кто смеется, у того, у того...

Симона вышла из центральной, остановилась перед Паолой. Блаженная рожица, что с нее возьмешь?

— Дура ты, Пашка, вот что, — сказала она негромко.

Паола остановилась и уж совсем донельзя глупо спросила:

— Почему?

— Долго объяснять. Просто запомни: со всеми своими прекрасными чувствами, со всей своей развысокой душой один человек может быть совсем не нужен другому. Вот как.

«Зачем они все знают, зачем они все так хорошо знают...» — с отчаяньем думала Паола.

Но тут взвыли генераторы защитного поля. Сигналов тревоги не было — видно, подходило небольшое облачко метеоритной пыли.

— Не осенний ли мелкий дождичек... — сказала Симона и побежала в центральную.

Паола повела плечами, словно действительно стало по-осеннему зябко, и пошла по коридору, как всегда, по самой середине, где под белой шершавой дорожкой — узенький желобок. Приоткрыла дверь своей каюты — потолок тотчас же стал затягиваться молочным искристым мерцанием. Не думая, протянула руку вправо, почти совсем приглушила люминатор. Оглянулась. Напротив поблескивала металлопластом дверь одной из кают, что для «них».

Гулкое ворчанье под ногами усиливалось. Паола перешагнула через порог, неожиданно подпрыгнула — видно, Симона сняла энергию с генераторов гравиполя, и тяжесть, и без того составлявшая что-то около шести десятых земной, уменьшилась еще наполовину. Паола забралась на подвесную койку, поджала ноги. Она знала, что ничего страшного нет, что Симона напекает себе за пультом и ничего не боится, и Ада ничего не боится, и Ираида Васильевна боится только потому, что она всегда за всех боится, но внизу, в машинно-кибернетической, рычало, и ноги невольно подбирались куда-нибудь подальше от этого низа.

Паола подняла руку к книжной полке, не глядя, вытянула из зажима алый томик Тагора. И книга раскрылась сама на сотни раз читанном и перечитанном месте:

«О мама, юный принц мимо нашего дома проскачет — как же могу я быть в это утро прилежной?»

Покажи, как мне волосы заплести, подсажи мне, какие одежды надеть.

Отчего на меня смотришь так удивленно ты, мама?

Да, я знаю, не блеснет его быстрый взгляд на моем окне; я знаю, во мгновение ока он умчится из глаз моих; только флейты гаснущий напев долетит ко мне, всхлипнув, издалека.

Но юный принц мимо нашего дома проскачет, и свой лучший наряд я надену на это мгновенье...»

Страха уже не было, а было повторяющееся каждый раз ожидание какого-то чуда, вызванного, как заклинанием, древней песней о несбыточной любви.

«О мама, юный принц мимо нашего дома промчался, и утренним солнцем сверкала его колесница.

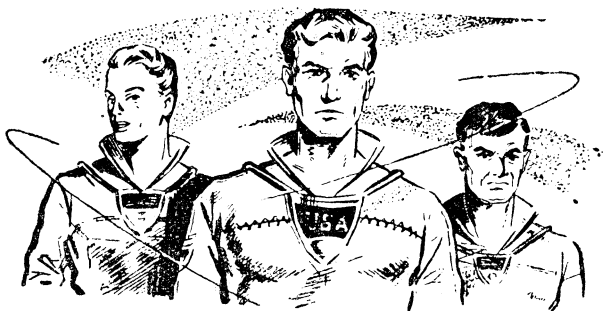
Я откинула с лица своего покрывало, я сорвала с себя рубиновое ожерелье и бросила на пути его.

Отчего на меня смотришь так удивленно ты, мама?

Да, я знаю, он не поднял с земли ожерелья; я знаю, в красную пыль превратили его колеса, красным пятном на дороге оставив; и никто не заметил дара моего и кому он был предназначен...»

А станция все летела и летела вокруг Земли, и вместе с Землей, и вместе со всей солнечной, и вместе со всей Галактикой, и вместе с тем, что есть все это — все галактики вместе, и то, что между ними, и то, что за ними; и только, затихая, мурлыкали сигматеры первой зоны защитного поля, и только чуть посапывал регенератор воздуха, и только жемчужным, звездным блеском мерцал люминатор, и никаких чудес не могло быть на этом белом свете.

«Но юный принц мимо нашего дома промчался, и драгоценный камень с груди своей я бросила ему под ноги»<sup>1</sup>.



#### IV. ВСТРЕЧА В ПРОСТРАНСТВЕ

— «Арамис», «Арамис», я — «Первая Козырева», связь связь...

— Есть связь. Ада, возьми-ка связь, надоели до чертиков со своими информашками...

— Подтвердите готовность к приему американского планетолета НУ-17 «Бригантина».

Ираида Васильевна оперлась на Адино плечо, наклонилась над чашечкой короткого фона.

— Станция «Арамис» — «Первой Козырева»: к приему планетолета НУ-17 «Бригантина» готова. Начальник станции Ираида Монахова.

«Бригантина» легла в дрейф на расстоянии от вас шесть с половиной тысяч километров, геоцентрические координаты...

<sup>1</sup> Перевод А. Израйлига.

— Сейчас соврут! — шепнула Симона и заслонила своими плечами широченный экран гравирадара. Радужная мошка выползла на его сетчатое поле.

«Первая Козырева» выдала координаты и, как всегда, приврала. Симона отошла от гравирадара и наклонилась над Адой с другой стороны, так что все три женщины легонько стукнулись головами.

— Ламуиль, котик, это ты там порешь?

«Первая Козырева» невозмутимо продолжала:

— «Арамис», «Арамис», передаю вам связь с «Бригантиной». Корабль идет без повреждений, дополнительной бригады на прием не запрашивалось. Дежурный диспетчер Шарль Ламуиль, — и уже другим, сердитым голосом: — Да, это я. А что?

— С тебя пол-литра «Московской» за вранье. Когда Колька приземлится.

— А что, действительно была связь?

— А ты не знал?

— Знал, да как-то не верилось... Ну, берите «Бригантину».

«Первая Козырева» сошла со связи, из фона понесло писком, визгом и улюлюканьем.

— Чистый зверинец, — Симона подтолкнула Аду плечом, чтобы та освободила ей место. — А еще Пространство.

— Симона, — мягко сказала Ираида Васильевна, — может быть, Аде пора самой принять хоть один корабль?

— Нос не дорос.

Ираида Васильевна тихонько вздохнула — нервничает человек. И еще сколько кораблей ей принять, прежде чем вернется — или совсем уже не вернется — Николай Агеев.

И Симона понимала, что Ираида Васильевна жалеет ее, как всегда, и боится за нее, как за всех, и поэтому предлагает — хорошо, что еще не приказывает! — передать прием «Бригантины» Аде, дублеру по кибернетике и механизмам. Симона сердито фыркнула, и тотчас же из коричневого овала возник негромкий баритон:

— ...пеленг... Я «Бригантина», я «Бригантина», прошу пеленг.

Симона оглянулась — Паола сидела в дальнем углу, руки подложены под колени, а ноги до пола не достают. Ишь, как трогательно.

— Иди-ка поближе. Тоже мне Золушка.

Паола легко перебежала через всю центральную, ткнулась носом в лохматый затылок Симоны. Та одной рукой включила тумблер автопеленга, а другую закинула за голову и поймала Паолу за короткую жесткую прядку, больно дернула — «ой!».

— Девочки! — строго сказала Ираида Васильевна.

Точка на экране двинулась и поползла к центру, увеличиваясь и теряя радужные оболочки. Корабль подходил к станции на своих маневровых двигателях. Планетарные были уже застопорены, потому что на них не только станцию проскочить можно, но и всю систему «Первой Козырева», и очень даже просто; а во вторых, планетарное топливо стоило, ой-ой-ой, сколько, надо было беречь.

— Дорогие космонавты, — обратилась Симона к «этим проклятым капиталистам» с традиционной формулой приветствия, — рады поздравить вас с благополучным завершением рейса.

— Благодарю вас, мадам, — ответил красивый баритон. — Идем на сближение по пеленгу. Через четыре минуты начну торможение.

— Рановато, — сказала Симона. — Подойдите поближе. Как слетали?

— Благодарю вас, как всегда — без происшествий.

— Везет. Занудное благополучие. А нас одолевает пыль.

— Рад за вас, мадам, если все обошлось без последствий. Одному из наших кораблей не удалось избежать некоторых неприятностей.

— А, «Киллинг». Слышала. Сами виноваты. Курицы.

— Симона, — сказала Ираида Васильевна.

— Не знаю подробностей, мадам. Это случилось вчера.

— Зато я знаю. Тормозите.

Симона оглянулась на экран. Точка была у самого центра.

— Потихе, рыбонька, — сказала она шепотом этой самой точке и положила руки на пульт управления. — Стоп, стоп, капитан, — Симона повернула рычаг энергораспределителя и одновременно повела влево контактор гравитационного поля.

У всех появилось ощущение, что они приподнимаются вверх. Симона снизила поле гравитации до двух десятых земной. Мягко, пухло, словно разрастаясь в объеме, возник ухающий, вздыхающий гул. Это заработали на холостом ходу маневровые двигатели самой станции.

— Легли в дрейф, — доложили с «Бригантины». — Расстояние до «Арамиса» — восемьсот двадцать семь метров.

Ну ясно, опять влетит от диспетчера. Хорошо еще — свой человек. Так что неизвестно, кто кому будет «Московскую» ставить.

— Восемьсот пятнадцать, — сказала Симона с легким вздохом. — И не кричите на все Пространство.

Пол дрогнул, поддал по пяткам, вильнул туда-сюда, и стало непонятно, куда летишь, но было ясно, что летишь очень быстро.

Станция шла к планетолету. Он уже был виден сквозь толстый иллюминатор, и Симона взяла вверх, чтобы особенно долго не крутиться вокруг него, а сесть прямо ему на хребет. С каждой минутой становилось ясно, какой же это гигант, и когда станция пошла над ним, то со стороны могло показаться, что это маленькая проворная каракатица пристраивается на спину мирно отдыхающего дельфина.

— Подержитесь, бабоньки, — сказала Симона, но все и так знали, что сейчас сила тяжести будет уменьшена до одной десятой земной.

Паола схватилась за чеканную титанировую раму иллюминатора. Вот опять промелькнула обшивка планетолета — заходили с кормы, где все еще светились чудовищные раструбы дюз. Так было удобнее сесть на люк.

Симона включила круговой экран обозрения. Ага, уже совсем близко. Станция замерла, немного поерзала, словно примериваясь, и уже на кибер-абордажере, потому что никакой человек не мог бы этого сделать с требуемой точностью, плавно скользнула вбок и присосалась к двум четким овалам грузового и пассажирского люков.

Крепёжные лапы выползли из открывшихся пазов и цепко обхватили темно-серое, тускло поблескивающее тело планетолета. Теперь он и станция представляли собой единое целое. Оставалось только выдвинуть герметический трап.

Симона нагнулась над сетчатой плоской фона:

— Ну, как вы там?

— Надеваем скафандры, — лаконично отозвалась «Бригантина».

— Подаю трап. Всем покинуть шлюзовую камеру.

— Есть покинуть шлюзовую камеру.

Симона вдавила серую клавишу, и тотчас же из тамбурной послышалось легкое шуршание. Станцию еще немножечко качнуло, на обзорном экране было видно, как худой гофрированный хобот протянулся к люку и плотно обхватил его. Проворный, словно белочка, кибер уже выскочил в пространство и побежал по спирали вокруг переходника, добрался до места стыка и стал придирчиво тыркаться, проверяя надежность крепления.

— Экипаж планетолета НУ-17 «Бригантина» к выходу готов.

Паола переступила с ноги на ногу.

Симона включила тумблер под знаком «С», и тонкая прозрачная пленка опустилась с потолка и разделила шлюзовую, коридоры, салон и биологическую на территорию хозяев и территорию гостей.

— Выход разрешаю, — сказала Ираида Васильевна, нагибаясь над плечом Симоны.

Два золотистых краба, выставив перед собой инструменты, ринулись по переходнику — помогать снимать люк.

Симона поднялась, повела плечами — чертовски нелеп был на ней форменный голубой костюм Международной службы — и в последний раз протянула руку к пульту — восстановила привычную на станции силу тяжести.

— Ну, пошли делать реверансы! — И, пропустив вперед Ираиду Васильевну, все двинулись в тамбурную.

Слева уже чернела изготовившаяся к нападению на чужой корабль беспристрастная армия кибер-контролеров; направо, к жилым отсекам, уходил белоснежный коридор, а прямо, так близко, что, казалось, сделал два шага, и ты там, зияла дыра герметического перехода.

Но сделать эти два шага было никак нельзя, потому что невидимая пленка немыслимой прочности поднималась у самых ног выстроившегося экипажа «Арамиса» и уходила в узкую щель темно-синего потолка — люминаторами в шлюзовой служили боковые стены. За дырой была темнота, из которой доносилась металлическая возня. И вот там, впереди, показалась полосочка света, потом щит люка стремительно опрокинулся внутрь перехода, подхватенный присосками киберов. На фоне желтого овала мелькнули силуэты этих киберов, втаскивающих щит внутрь корабля, потом свет усилился, и вот стройная фигура в едва угадываемом синтериклоновом скафандре показалась в конце перехода.

Паола снова переступила с ноги на ногу, вздохнула и даже тихонечко потрогала упруго подавшуюся под ее пальцами перборку, но никто на нее не оглянулся.

Показалась еще фигура и еще, и трое космолетчиков, чуть пригнувшись, вышли из темного коридорчика.

Они остановились напротив команды «Арамиса», почти у самой перегородки, только по другую ее сторону и на таком расстоянии, чтобы можно было сделать один маленький шаг вперед; и тот, что вышел первым, сделал этот шаг и чуть усталым голосом проговорил:

— Экипаж американского планетолета «Бригантина» в составе Дэннела О'Брайна — командира, — он с каким-то врожденным достоинством слегка наклонил голову, — Александра Стрейнджера — второго пилота, — поклонился незнакомый, но сразу бросающийся в глаза удивительно красивый юноша, — и Пино Мортусьяна — космобиолога, — Пино, старый знакомый, мотнул головой, — прибыл в систему космической станции «Первая Козырева» и просит произвести досмотр грузов.

Ираида Васильевна тоже сделала маленький шагок ему навстречу.

— Команда вспомогательной станции «Арамис» в составе Ираиды Монаховой — начальника и космобиолога, Симоны Жервез-Агеевой — кибер-механика, Ады Шлезингер — уполномоченного по досмотру грузов и Паолы Пинкстоун — стюардессы — рада видеть вас у себя на борту. Сейчас прошу всех пройти в боксы биологической обработки, после чего прошу вас в салон, — и Ираида Васильевна улыбнулась так по-домашнему, по-земному, что американцы не могли не ответить ей тем же и тоже улыбнулись: капитан — сдержанно, второй пилот — ослепительно, а Пино — криво, как всегда.

— Нет ли у вас на борту живых существ, капитан? — зада-ла Ада традиционный вопрос.

— Нет. Груз — контейнеры с кормонилитом. Все данные о характере груза, в том числе и о его активности, в бортовом журнале.

Формальности были окончены, космолетчики поступали в распоряжение Ираиды Васильевны, теперь уже не командира, а врача.

— Прошу вас, — она повернулась и пошла в правый коридор, и трое в скафандрах тоже повернулись и послушно затопали рядом с ней.

## V. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. НЕМНОГО ПОЛИТИКИ

Два одинаковых золотисто-коричневых «гнома», работающих по зеркальной программе, подали фрукты. Капитан отказался; Мортусян потянул огромную кисть винограда, которая позволила бы ему до конца вечера не вступать в разговор. Красавец Санти выбрал на редкость аппетитный персик и, живо обернувшись влево, хотел было предложить его Паоле, но наткнулся на синтериклоновую пленку и так естественно упомянул чертей в количестве что-то около четырехсот штук, что все засмеялись.

— Простите, мисс, — проговорил он, великолепно смущаясь, —

надеюсь, вы дадите мне возможность заглянуть мой промах где-нибудь на Земле?

«Вот как славно, — искренне порадовалась Иранда Васильевна, — и голубой «космический» костюм Паше к лицу и этот румянец... И сам О'Брайн улыбается. Все будет хорошо, все еще будет хорошо».

«А что, — думала Симона, — пусть не журавль в небе, зато синица в руках. И какая синица!»

Ада смотрела на Санти Стрейнджера, безмятежно приподняв брови: «А ведь это игра. И игра на самом высоком уровне. Только зачем? Не ради же интрижки с маленькой стюардессой?..»

В салоне было не слишком светло и удивительно уютно; невидимая пленка синтериклона, разделявшая стол, не мешала общей беседе, так как была абсолютно звукопроницаема. И сама беседа была уютной, неторопливой, домашней. Говорили о Венере, к которой здесь, у «Первой Козырева», относились несколько снисходительно, по-соседски, словно она находилась в той же системе вспомогательных станций и была притом не лучшей из них.

— А Мурзукский рудник, вероятно, придется прикрыть, — сказала Симона, возвращая разговор к прерванной теме. — Это возле Сахарского хребта, ваш кормонилит как раз там и добывают. Так вот, за прошлую неделю туда пожаловало уже два венерианина. Какое уж тут невступление в контакт! Хорошо, ваши ребята вовремя спохватились, выкинули их из зоны действия машин.

— А вы не знаете подробностей? — спросил Санти.

— Ну? — Симона приготовилась слушать, хотя с недавнего времени у нее появилось подозрение, что этот мальчик врет, как в худшем случае — Мюнхгаузен, а в лучшем — Ийон Тихий.

— Так вот, ребята с Мурзукского недавно подстрелили пару зверюшек, не помню, как они называются, но что-то вроде наших кенгуру. Хотели привезти домой — знаете, сколько за такие штуки в наших музеях платят? А биолог — Пино его знает, здоровенный такой верзила — попросил одну займы. Все долго гадали, зачем ему эта шкура на Венере — ну, на Земле это было бы еще понятно. Перед девочкой похвастать или еще что-нибудь подобное. А в первых числах августа вдруг сигнал тревоги — кто-то залез в зону действия машин. Все бросились к экранам, а там огромная фигура — шкура кенгуру, а походка как у биолога — выносит на руках маленького венерианина. Вынес из зоны, на ноги поставил да еще подшлепнул — не шатайся, где не положено.

— Вполне правдоподобно, — сказала Симона.

Оно действительно было вполне правдоподобно, это маленькое происшествие с любознательным венерианином. Но вот эта фигура благородного янки, выносящего на своих руках из опасной зоны маленького аборигена...

А если врет, то зачем?

Симона глянула на Аду: ага, и та не верила.

— До чего же все это надоело — замаскированные станции, телепередатчики чуть ли не в дуплах деревьев, вся эта мышьяная возня вокруг невступления в контакт... А я бы сейчас собрала всех их детенышей и — к ним, воспитательницей в детский сад.

— И воспитала бы из них сорванцов, — засмеялась Ада.

— А вы считаете себя вправе учить их жить так, как живете вы сами? — спросил О'Брайн.

— Ну нет, капитан, — замахала руками Симона, — что бы было! Я учила бы их жить, исходя из собственных ошибок.

— Собственных, это в частности, — заметил Санти, — но нужно учитывать и более существенные заблуждения, свойственные не отдельному человеку, а...

— Начинается, — сказала Симона. — Вижу, что в ближайшие десять лет мне не быть воспитательницей в детском саду.

— Почему же, — упрямо возразил Санти. — Нужно только договориться. Договаривались же наши страны по многим вопросам. Нет никакого сомнения, что тот строй, который возникнет на Венере после появления там общества, — согласитесь, что его там пока вообще нет, есть только стаи, — все женщины дружно поморщились, — так вот, этот строй — я не возражаю даже против того, чтобы он назывался коммунистическим, — этот строй будет отличаться и от того, что имеет место в вашей стране, и от того, к чему в конце концов придет мы.

— Едва ли, — сказала Симона, — потому что в конце концов и мы и вы — все придет к одному и тому же.

— Сомневаюсь, — мягко проговорил Санти. — Уже тот кибернетический социализм, который мы избрали в нашей стране, принципиально отличается от того социализма, который имел место в России и сейчас еще наблюдается в некоторых странах. — Симона начала медленно бледнеть. — Не умаляя значения вашего великого примера, — Санти весьма небрежно сделал ручкой, — мы все-таки возьмем на себя смелость развиваться самостоятельно, и пока мы так же, как и вы, являемся космической державой, мы будем... э-э-э... протестовать против насильственного насаждения среди венериан исключительно ваших взглядов. Пусть они себе строят коммунизм, но пусть они имеют свободу выбора, с кого брать пример — с вас или с нас.

— Та-ак, — протянула Симона. — Мало нам, значит, было социализма по-американски, теперь нам обещают и коммунизм под тем же соусом. А не слишком ли легко вы бросаетесь словами, мой мальчик? Ведь это, черт побери, не шашлыки — по-вашему, по-нашему! Мы социализм настоящий, мы его горбом, кровью и потом выстроили. И коммунизм — это великая работа. Никто ее не считает, просто каждый по совести делает немножко больше, чем может. Так что вообще-то коммунизм — это Совесть. С большой буквы А для вас, я вижу, уже все равно — в один прекрасный день, когда совсем не за что держаться стало, выкинули последнюю соломинку: граждане свободной Америки, у нас, видите ли, уже сам собой сложился социализм. Кибернетический притом, что является высшей его ступенью. Не так ли, а?

Санти поднял на нее ясные красивые глаза: «Ну и расправляются же здесь с гостями, и, судя по всему, это тут обычное явление», — и заговорил негромко и сосредоточенно, как пай-мальчик, отвечающий урок:

— Ни тот переход от капитализма к социализму, который имел место в нашей стране, ни то расширенное понятие о социализ-

ме, к которому пришли американские теоретики, не только не противоречат марксистской диалектике...

— А ваши безработные? Они что — тоже не противоречат? — перебила его Ада.

— Мисс, бога ради, поддержите меня, — Санти обернулся к Паоле, через упруго подавшийся синтериклон коснулся ее близкого плеча. — Скажите вашим коллегам, что любой американец, не нашедший работы по специальности, получает в неделю один час общественных работ, причем оплата труда позволяет ему не только прокормиться самому, но и содержать семью.

— То есть не помереть с голоду, — задумчиво сказала Ираида Васильевна. — То-то и оно, что рождаемость у вас...

— Рождаемость — вопрос другой. А предоставить каждому высокооплачиваемую работу по специальности мы не можем, потому что это значило бы...

Он остановился и глянул на Паолу, давая ей закончить мысль.

— ...это значило бы подорвать конкуренцию. А конкуренция — прежде всего, — старательно, как на уроке, проговорила Паола.

Ада презрительно повела плечами, чего раньше себе никогда не позволяла.

— Ну, а эксплуатация трудящихся? И это при «социализме»?

— Помилуйте! Эксплуатации давно нет. Каждый рабочий полностью получает за свой труд. Не так ли, мисс?

— Разумеется. Капиталисты... — Паола беспомощно наморщила лобик, — они присваивают себе только труд роботов. А люди полностью получают по труду...

Паола раскраснелась, поставила локти на стол. Впервые она, как равная, принимала участие в таком умном разговоре.

— И ты туда же! Также мне знаток политэкономии, — преврала ее Ада. — Тогда не мешало бы тебе знать, что машины не могут трудиться. И сколько бы там роботов ни было на производстве, эксплуатируются-то рабочие...

— Послушайте, вы, — заговорила притихшая на время Симона, — вам известен такой термин — «липа»? Да? А «развесистая клюква»? Так вот ваш кибернетический социализм по-американски...

— Мадам, — спокойно проговорил Дэниел О'Брайн, и Мортусян перестал жевать виноград. — Я тоже американец.

Симона обернулась к нему, фыркнула.

— Дорогой капитан, это то, что примиряет меня пока с Америкой.

Дэниел наклонил голову — ровно настолько, чтобы не показаться неучтивым. И всей кожей почувствовал взгляд Санги Стрейнджера. А действительно, стоит ли быть учтивым с какой-то марокканкой? Дэниел постарался смотреть так, чтобы взгляд приходился посередине между Адой и Ираидой Васильевной.

Ираида Васильевна поднялась.

— Очень жаль, господа, но мы не хотели бы, чтобы корабль задержался на «Арамисе» по нашей вине. Салон и библиотека в вашем распоряжении. Паша, займи гостей.

Паола улыбнулась — как и подобало хозяйке, спросила:

— Может быть, еще кофе?

Санти опустился на свое место и положил ноги на кресло

Мортусяна, приняв естественную и непринужденную позу усталого человека:

— Если это вас не затруднит, мисс, то еще чашечку.

Паола побежала на кухню — не хотелось посылать «гнома».

— Отдыхайте, ребята, — сказал капитан и пошел в свою каюту.

Мортусян подошел к Санти, перегнулся через спинку его кресла, выплюнул абрикосовую косточку.

— Мне смыться?

— Как знаешь.

— Развлекаешься с девочками?

— И другим советую.

Мортусян как-то неопределенно хмыкнул, нежно погладил Санти по головке.

— Ну, ну, паинька, — и тоже направился к себе.

Паола с чашечкой на подносе впорхнула в салон. Увидела Санти. Одного только Санти, Значит, снова до утра...

И приветливым тоном хорошо вышколенной стюардессы:

— Кофе, мистер Стрейнджер... — и загнулась: синтериклон.

Такой промах для опытной стюардессы.

Она так и стояла, мучительно краснея все больше и больше, хотя давно уже могло показаться, что дальше уже никуда; но особенностью Паолы было то, что она умудрялась краснеть практически беспредельно. И эта глупая, ненужная чашка в руках...

— Бог с ним, с кофе, — ласково проговорил Санти, поднимаясь. Он подошел к перегородке и прижался к ней щекой. Перегородка была чуть теплая. — Мисс Паола, вы скоро вернетесь на Землю?

Паола подняла на него глаза и не ответила. Санти засмеялся.

— Держу пари, что я-таки добился того, что вы считаете меня самым навязчивым из всех ослов. Ну ладно! Чтобы доказать обратное и заслужить вашу дружбу, открою вам один секрет: если вы хотите завоевать симпатии мистера Мортусяна — пошлите ему в каюту целую гору сладостей. Знали бы вы, какой он лакомка! Это верно так же, как и то, что капитан любит только одну вещь: легкие вирджинские сигареты.

— Но у нас на станции никто не курит, — Паола растерянно оглянулась по сторонам.

Господи, какая дура!

— К счастью, в моем личном саквояже вы можете их отыскать. Пошлите на корабль «гнома», как только закончится дезактивация и дезинфекция.

— Я не имею права...

— О, разумеется, разумеется... — Санти чуть заметно усмехнулся: не пройдет и трех минут, как «гном» поползет на корабль за сигаретами. Ну что же, начинать надо с малого. — А-жаль! — добавил он вслух.

Паола улыбнулась дежурной улыбкой стюардессы.

— Пойду поищу чего-нибудь для мистера Мортусяна...

Санти проводил ее взглядом, вытянулся в кресле, закинув руки за голову, негромко прочитал:

Сладко, когда на просторах морских разыгрываются ветры,

С твердой земли наблюдать за бедою, постигшей другого...

Дэниел О'Брайн закрыл за собой дверь каюты, устало опустился на край койки. Ну что, капитан, где твое хваленое ТО, ради чего ты живешь именно так, как сейчас живешь, и не стоит жить иначе?

Раньше оно вроде было ближе, достижимее. А сейчас оно где-то рядом, но невидимо и неощутимо, как грань между будущим и прошедшим. Увлекательная это игра — ловить настоящее. Хотя бы ощущение. Кажется, что оно вполне реально, но стараешься подстеречь его — оно становится всего лишь ожиданием; оно приходит, спешешь зафиксировать его в памяти, а оно уже там, потому что оно стало воспоминанием. И так всегда и во всем его настоящее распадалось на прошедшее и будущее, ускользало, и вся жизнь, если смотреть на нее с точки зрения разложения бытия на две эти составляющие, расплывалась, расплывалась, теряла привычные контуры, и в мерцании равновероятных правд и неправд рождалось желание совершать что-то недопустимое, невероятное; ведь не все ли равно, что делать, если не успеваешь осмыслить каждый шаг, а он уже пересек грань будущего и прошедшего.

Это стремление и привело его к Себастьяну Неро, ученому и промышленному магнату, и тогда жизнь стала действительно таинственной и желанной, и была она такой до конца прошлого рейса, пока снова не появилось недоуменное, тревожное смятение: а есть ли во всем этом ТО, чего ради вообще стоит жить?

Сначала он думал, ТО — это ожидание полета. Но ожидания не было, была переполненная формальностями суета проверки и отладки двигателей. А потом компания погнала «Бригантину» раньше расписания, и он даже не успел как следует познакомиться со вторым пилотом. Потом был полет туда — нудная канитель с вышедшими из управления супроторами, и бормотанье Мортусяна, и лучезарные улыбки Санти. И в этом уж никак не могло быть ничего святого. И погрузка над Венерой, истерический вой в фонах, роботы-грузчики, бесконечные контейнеры и «быстрее, быстрее» — из экспортного управления с поверхности.

И вот самое интересное — «Арамис», где, наконец, он мог в полной мере быть «джентльменом космоса», непроницаемым и безупречным.

Но опять не было ощущения того, что вот именно сейчас и наступило ТО, ради чего живешь именно так, как живешь, и не стоит жить иначе.

«А, к чертям, — безнадежно подумал Дэниел, — пока я первый пилот нашего флота, и я независим, и счет в банке — лет десять сносной жизни, а потом... час общественного труда, и гарантия, что не умрешь голодной смертью».

За дверью послышались легкие шаги, хлопнула соседняя дверь. О'Брайн потянулся и включил экран внутреннего фона.

— Ну и как? — послышался жабий голос Пино.

— Как и должно быть, — скромно отвечал Санти.

— А как тебе мадам?

— Бр-р-р... мечта пьяного Делакруа. Марокканская лошадь.

— А мамаша?

— Сами русские о таких говорят «чучмэк»...

— Мистер Стрейнджер, — Дэниел почувствовал, что необ-

ходимо немедленно вмешаться, — я попросил бы вас на будущее, как и вас, Пино, не утруждать в салоне политических дискуссий.

— Бога ради, капитан, разве был политический разговор? — Санти поднял ангельские глазки на экран и посмотрел на Дэниела. — Мне казалось, что я только исправляю нашу общую бестактность, стараясь привлечь к беседе нашу соотечественницу мисс Паолу.

Дэниел побледнел. Еще никто не смел с такой бесцеремонностью указывать ему на то, как следует вести себя за общим столом.

— И попрошу вас внимательнее следить за своей речью, — словно не расслышав ответа Санти, продолжал капитан. — Слова «чучмэк» нет в русском языке.

— Прошу прощения, капитан, — живо возразил Санти, — это жаргонное выражение, вышедшее из употребления в конце двадцатого столетия. Оно встречается у очень немногих авторов.

— Не слишком ли хорошо вы знаете русский, мой мальчик?

Санти вскинул руку — отключил фон Мортусяна.

— Язык врагов нужно знать так же хорошо, как свой собственный, — негромко проговорил он. — И даже лучше.

— Вы с ума сошли! Вы же на...

— В каютах пассажиров нет наблюдательной аппаратуры.

— Вы уверены?

Санти шагнул вперед, так что губы его очутились у самого экрана, и зеленоватое стекло подернулось легкой дымкой дыханья. И еще он засмеялся, так откровенно и высокомерно, как только он один позволял это себе по отношению к О'Брайну.

— Я это просто знаю, капитан. Они создавали эти станции, дьявольски уверенные в том, что только они будут здесь хозяевами. Себя им не нужно было контролировать. А мы — только пока. Мы — потенциальная часть их самих. Мы — хорошие парни, только по недомыслию не понимающие, что рано или поздно мы обречены на ту уравниловку народов, которую они считают светлым будущим человечества. А мы не хотим! И не позволим! Мы — это не вы, капитан. И не этот висельник Мортусян, которого мистер Неро — да, да, собственноручно Себастьян Неро — вытащил из мельбурнской тюрьмы и засунул на наш корабль. Ах, вы этого не знаете! Естественно, ведь вам на все плевать. Да не возражайте, капитан, нас ведь никто не слышит, и престиж «джентльмена космоса» не пострадает от того, что я вам скажу. Мы будем драться за тот путь, который мы сами выберем. И может быть, нам придется уничтожить тех, кто стоит на дороге. А те, которым плевать на все, — они тоже стоят. А нам нужно, чтобы с нами вместе шли. Бежали. Дрались. Но не стояли. Мы...

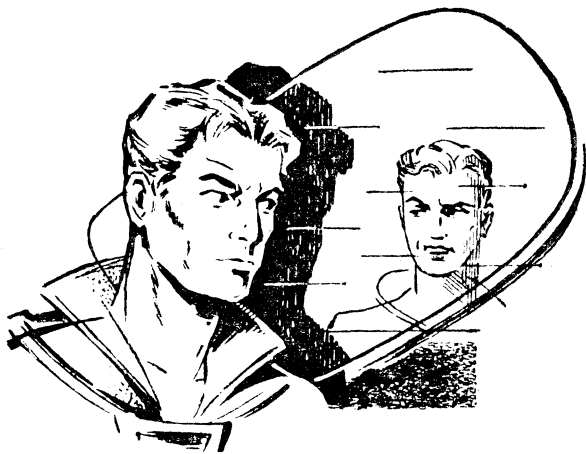
— Кто же это — мы? — спокойно проговорил О'Брайн.

И снова Санти улыбнулся, как улыбаются люди настолько сильные, что им можно уже ничего не скрывать.

— Мы — это пока я один, капитан. Прежде чем научиться драться в стае, каждый должен отточить свои когти в одиночку. Вы думаете, что этот корабль — мое первое поле боя? Нет, капитан, это еще учебный ринг. Только поэтому я и здесь. Пока я честно могу вам признаться, что не знаю, что я буду

делать дальше. Сначала — искать таких же, как я. И если я найду человека, которого признаю сильнее себя, я буду выполнять его приказы слепо и фанатично, как иезуит. А нет — буду командовать сам. Разумеется, это будет трудно... Трудно нам будет потому, что слишком многим в нашей стране на все наплевать. А ведь так гибнут целые государства. Древний Египет, Рим, Греция — они погибли, когда их обожравшимся гражданам стало на все плевать. И еще нам будет трудно потому, что слишком давние ошибки нам придется исправлять. Ошибки древние, но столь страшные, что мне порой кажется, что это я сам допустил их: это я в девятьсот четвертом не вступил в союз с Японией, чтобы помочь ей захватить всю азиатскую часть России. Это я в семнадцатом году не объявил тотальной мобилизации всего мира, чтобы задуть новорожденную гидру социализма; это я в сорок пятом...

Дэнниел выключил фон. Слишком любил он этого красивого, сильного мальчика и не хотел видеть, как взлет непримиримости перейдет границы и опустится до истеричного, маниакального, жалкого.



## VI. ДЕНЬ ВТОРОЙ. ПОДОЗРЕНИЯ

— Чисто? — в сотый раз спрашивала Ада.

— Чисто, черт их дери, — в сотый раз отвечала Симона и в сто первый раз запускала на просмотровом столике какую-нибудь диаграммную ленту. Формально все было чисто. Одни подозрения — как и в прошлый их приход, впрочем.

— Значит, опять пропустим?

— Черта с два, — сказала Симона. — Черта с два. Ищи.

И снова киберы, чмокая присосками, шли по сумрачному переходу, чтобы передвинуть и «прозвонить» каждый контейнер, чтобы обнюхать каждый квадратный сантиметр поверхности стен и горизонтальных переборок, и Ада сидела перед экранами внешнего обзора до самого обеда и после обеда, и снова ничего не было заметно, и Симона, наконец, оттащила ее от просмотрового пульта, потому что и завтра был еще целый день.

— Чисто? — еще раз спросила Ада.

— Пока — да. Но видишь этот штрих?

— Царапнуло перо.

— А тут?

— М-м-м... Тоже.

— И здесь — тоже?

— Честное слово, Симона, это слишком уж микроскопические придирки.

— А почему они идут через определенный промежуток времени?

— А почему бы им и не идти? Механические неполадки.

Симона запустила еще одну ленту.

— Ну, а здесь? Этот легкий зигзаг — всплеск радиации. Вот еще — весьма регулярные всплески. Помнишь, я тебе говорила о них в прошлый приход «Бригантины»?

— Но им так далеко до нормы!

— Не это важно. Важно то, что по времени они совпадают с первыми штрихами.

— А первая лента откуда?

— С регенерационной машины. Слово ее останавливали или переключали на другой режим.

— Ну, знаешь! Какая тут связь?

— Да никакой, — сказала Симона.

Ада направилась к двери, но Симона продолжала упорно смотреть на легонькие лиловые загогулины.

— Как ты думаешь, — спросила она вдруг, — что будет сделать нормальный космонавт, если в кабину проникнет излучение?

— Такое?

— Такое — наплюет. Мощнее.

— Усилит защитное поле. Ну, ползет в скафандр высокой защиты, если успеет.

— Ну, а ненормальный космонавт?

— Ненормальных не бывает.

— Ненормальный космонавт заранее наденет скафандр, а потом... — Симона еще раз посмотрела на рисунок ленты и пошевелила пальцем в воздухе, повторяя кривую, — потом возьмет дезактиватор и накроет его раструбом датчик прибора. Прибор трепыхнется и как паинька покажет нормальную активность.

— Зачем?

— Не имею представления. Ну, пошли.

— Последние известия, — сказала она голосом кибер-информа-

тора, входя в салон, — большой океанский лайнер доставил из Чикаго в Москву тысячу триста актеров, статистов и специалистов-антигравитаристов «Беттерфлай-ревю». Гастроли продлятся полтора месяца. Во-вторых, десятого сентября ожидают извержения какой-то сопки. И, в-третьих, двоих ваших опять попросили с Венеры. Пытались любезничать с аборигенами.

Американцы промолчали, словно их это не касалось.

— И вот-вот будет спецсвязь с Землей.

Санги поднял пушистые каштановые ресницы.

— Чья-нибудь мама, — пояснила Ираида Васильевна.

Но это оказалась не мама, а Митька, и Симона с Ираидой Васильевой, извинившись, пошли в центральную, и Митькина голова уже сияла на экране, и по этой голове было видно, что сидит он на самом кончике стула.

— Здравствуй, мама, — сказал Митька и тыркнулся в самый экран.

— Здравствуй, Митя, — ответила Ираида Васильевна так строго, что Митька даже растерялся.

— Мама, а ты ни на что не сердисься?

— Что ты, сынуля! Я просто устала. А как у тебя с отметками?

«Ну, что она?» — с тоской подумала Симона и постаралась боком-боком вдвинуться в сектор передачи.

— Это вы, тетя Симона? — закричал Митька, и глаза его сделались узенькими и совершенно черными — никакого белка, просто черная щелка. Вот так дикарениши радовались, завидя добычу. И бросались на нее. Этот еще не умеет бросаться — этот пока только радуется.

— Ну, что тебе, человечий детеныш?

— Теть Симона, а я узнал: венериане все-таки инертными газами дышат. Это из Парижа передавали, на русском языке. Вот.

— А не путаешь, детеныш? В нашем воздухе ведь тоже присутствуют инертные газы — не в таком, конечно, количестве, как на Венере, но все же есть. Мы их и вдыхаем, и выдыхаем, и даже заглатываем. Но ведь мы ими не дышим и не питаемся. Понимаешь разницу или объяснить?

— Да тетя Симона же, — с отчаянием проговорил Митька, — ну как вы не хотите понять? Я же вам говорю — дышат. Ну, вдыхают там аргон или ксенон, а выдыхают уже совсем другое. Соединение. У них внутри соединяется.

— Фантастика, — пожалала плечами Симона. — И потом откуда французские ученые это взяли? Ведь никто еще не исследовал живого венерианина. Нельзя.

— Не знаю... — растерянно протянул Митька.

— Никогда не говори ничего такого, что тебе самому до конца не ясно, — терпеливо проговорила Ираида Васильевна. — Вероятно, очередная гипотеза, пытающаяся объяснить наличие в венерианской атмосфере различных соединений инертных газов. Поговорим об этом на Земле. А сейчас нам пора, сынуля. У нас гости.

— «Кара-Бугаз»?

Все, чертенята, знают, даже примерное расписание рейсовых планетолетов.

— Нет, — сказала Симона, — «Бригантина».

Митька внимательно посмотрел на Симону; скулы, обычно скрытые мальчишеской округлостью щек, проступили четко и тревожно...

— Познакомиться хочешь? — спросила Симона.

Ираида Васильевна недовольно обернулась к ней, но Симона как ни в чем не бывало уже успела щелкнуть тумблером. Ираида Васильевна только пожала плечами — собственно говоря, передача из салона в присутствии экипажа какого-либо корабля никогда не запрещалась.

— Господа, — сказала Симона, переходя в салон, — это Митя Монахов.

Космолетчики, как по команде, обернулись сначала к ней, а потом к фону дальней связи.

Митька увидал американцев и машинально поднялся. На экране были видны теперь только чуть примятая рубашка и трусы на трогательной резиночке.

— Сядь, Митя, — просто сказала Симона. — Это экипаж «Бригантины»: капитан Дэниел О'Брайн...

Дэниел кивнул почти приветливо, и Митька ответил ему сдержанным кивком, исполненным достоинства.

— ...космобиолог Мортусян...

Пино мотнул головой, Митька тоже мотнул.

— ...и второй пилот Стрейнджер.

Санти привстал, улыбнулся.

Митька кивнул без улыбки и исподлобья глянул на Симону; та едва заметно прикрыла глаза, но это был целый разговор, понятный только им двоим: «Ты, детеныш, не ожидал, что они такие. Да, капитан, по-видимому, герой и дельный парень. Мортусян — парень не дельный, не герой и вообще на планетолете фигура странная. А третий — настоящий враг. Это ты правильно угадал, человечиска. А что не подал виду — правильно. И что не улыбнулся ему — тоже очень правильно. Молодец!»

— Не буду вам мешать, — Митька явил весь свой такт, — до свиданья.

Ираида Васильевна немножко растерялась, перебирая привычные, но не подходящие в данном случае слова, и тем временем экран погас, и американцы по очереди стали говорить то хорошее, что всегда говорят матерям про детей, а Ираида Васильевна все думала, что про отметки он так и не успел рассказать — не вовремя всегда вмешивается эта Симона.

Ираида Васильевна вернулась на свое место. Все тактично молчали.

— А что, — Симона потянулась за леденцами, — завидно, да? Хочется еще в футбол и девчонок за косы?

— Подумаешь, — сказал Санти. — Вот прилечу и пойду играть в футбол. И за косы кого-нибудь тоже можно.

— Черт побери, — Симона высунула кончик языка с леденцом, скосила глаза и посмотрела на конфету — она была зеленая. — А вот я — уже старуха.

Дэнниел медленно поднял на нее глаза. О чем она говорит? Почему он перестал понимать, о чем она говорит?

— Ну да, — протянул Санти, — а меня так и подмывает спросить вас, в котором вы классе.

— В пятом, — с готовностью отозвалась Симона. — Лучшее всего — в пятом.

Все, естественно, выразили на своих лицах необходимое недоумение — почему, мол, обязательно в пятом.

— Меня в пятом три раза из школы выгоняли. Бесповоротно. И обратно принимали. Скучал без меня директор.

Санти наклонил светлую голову к самому столу, восторженно посмотрел на Симону снизу.

— Мадам, — проникновенно проговорил он, — куда бы вы еще ни полетели — возьмите меня с собой. Готов следовать за вами в качестве оруженосца, раба, робота...

— Идет, — Симона трянула лохматой гривой, — идет. Только не бойтесь?

— Нет, мадам.

— Молодец, мой мальчик. Но мы пойдем сквозь пояс чудовищной радиации... И все-таки не бойтесь?

— С вами, мадам?

— Правильно. Чего же бояться? Мы просто наденем антирадиационные скафандры, возьмем дезактиватор и... накроем его раструбом бортовой дозиметр. Здорово?

Лицо капитана, застывшее в снисходительно-насмешливой улыбке. Круглеющие от страха глазки Мортусяна. Санти поднял пушистые девичьи ресницы — хлоп, хлоп, пленительно улыбнулся:

— А зачем?

— Это-то я и хочу знать: зачем?

Казалось, Симона сейчас протянет свою огромную лапу, словно папиросную бумагу, прорвет синтериклон и накроет маленького Санти, и он трепыхнется под ее рукой — и затихнет, пойманный...

И тут вскочила Паола. Ничего не понимая, но инстинктивно предугадывая надвигающуюся на Дэнниела опасность, она бросилась вперед, словно воробышка, растопырив перышки:

— Ой, не отпускайте мистера Стрейнджера, капитан. Честное слово, это плохо кончится. А если он вам не нужен, то лучше оставьте его здесь, на станции...

Все дружно рассмеялись. Все, кроме Симоны.

«Господи, да что же я делаю? — неожиданно подумала она, — что делаем мы с Адой? К чему вся эта мышьяная возня с предполагаемой контрабандой, которую мы, наверное, не найдем, потому что ее попросту не существует? А потеряем мы Пашку. Потеряем нашу Пашку. А нашу ли? Нам казалось, что достаточно прожить вместе несколько лет, как она автоматически станет нашей. А вот вышло — она чужая, и мы для нее — враги. Понимает, что мы что-то затеяли, и готова на все — именно на все, на драку, на предательство, лишь бы защитить тех, своих. Так что же вы смотрите, Ада, Ираида, куда вы смотрите? От нас же уходит человек...»

А Ираида Васильевна с Адой смотрели на Санти. От него

действительно трудно было глаза отвести. Симона неслышно вздохнула.

— Очень-то нам нужны тут на станции такие — рыжие, — медленно проговорила она. А про себя подумала: «Самоуверенный красавчик. Всем вам наша Пашка совсем не нужна. И все-таки она уходит к вам».

— О, черт, — сказала она вслух и резко встала. — Да никуда я вас с собой не возьму.



## VII. ДЕНЬ ТРЕТИЙ. НИЧЕГО

Ираида Васильевна быстро вошла в центральную.

-- Симона, может быть, вы мне объясните?..

А что объяснять? И как это объяснить, что Пашка, которая умела так незаметно и преданно заботиться обо всех, некрасивый, почти уродливый чертенок, неопытный еще чертенок, застенчивый, с каждым часом становится все более чужой, и еще немного — и этот процесс отчуждения станет необратимым, потому что в каждом уходе одного человека от другого — или

от других — есть такой предел, после которого возвращение уже невозможно.

— Ираида Васильевна, — устало сказала Симона, — мы имеем основание полагать, что контрольная регистрирующая аппаратура не полностью и не всегда точно записывала процессы, происходящие в кабине корабля.

— Ну, Симонг, голубушка, чтобы так говорить, надо действительно иметь веские доказательства.

Симона промолчала. Какие тут к черту веские доказательства — несколько мизерных всплесков на диаграммах да интуитивная уверенность в том, что «Бригантина» посудина нечистая.

— Мы располагаем несколькими фактами, каждый из которых сам по себе вполне допустим, но все вместе они наводят на некоторые подозрения, — четко, как всегда, проговорила Ада. — Во-первых, тяжелые антирадиационные скафандры. Как вам известно, эти неуклюжие сооружения на других кораблях используются сравнительно редко — в случае непосредственной опасности. А на «Бригантине», на этом благополучном корабле, скафандры надевают в каждом рейсе. Хотя бы раз — ведь пломба со скафандра снимается лишь однажды, и мы не можем проследить, сколько раз он был в употреблении — два или двадцать два.

— Но ведь каждый раз на это имеются причины? — строго проговорила Ираида Васильевна. — Или в бортовом журнале...

— А, бортовой журнал, — махнула рукой Симона. — Там всегда какая-нибудь липа. «Обнаружили в кабине кусочек неизвестной породы». Приняли за венерианскую, полезли в скафандры. Это было во втором рейсе, я, естественно, попросила показать — обыкновенный кварц. Даже слишком чистый для тех, что прямо на дороге валяются. Похоже, из коллекции сперли. Кварц с Венеры. Смешно. Кварц в кабине корабля, который никогда в жизни не опускался на поверхность какой-либо планеты. Тоже смешно.

— А сейчас что? — быстро спросила Ираида Васильевна.

— Якобы получили сигнал с «Линкольн Стар» о полосе радиации.

— Допустимо, — степенно проговорила Ираида Васильевна. — Блуждающее облако. Вполне вероятно. А «Линкольн Стар» запросили?

— Они сигналы подтвердили. Но...

— Но?

— «Токио» шел в том же секторе. А вот ему сигнала не дали.

— Ну, это их семейное дело. У «Токио», может, защита сильнее.

— Ну да, это же кроха, космический репинчер. И не в этом суть. Подозрительно то, что все эти происшествия случаются только в обратном рейсе. И примерно двенадцать часов спустя после старта с «Венеры-дубль».

— Все четыре раза? Совпадение.

— Да поймите же! — Симона стукнула кулаком по плексовой панели просмотрного столика так, что он загудел. — Таких совпадений в природе не бывает! Исключено.

Ираида Васильевна флегматично пожала плечами.

— Но я вижу — вот здесь, под плексом, который уцелел каким-то чудом, — ведь это лента с дозиметра? Всплеск радиации налицо. Так что не исключено, милая Симона, с фактами надо мириться. Радиация, по всей вероятности, внешняя.

— Нет, — сказала Симона. — По величине пика и по характеру затухания — не внешняя. И уж если вы хотите исследовать эту диаграмму, то обратите внимание на вот эти довольно периодические пички. Помехи? Нет. Законные пички. Малюсенькие только. Откуда бы им взяться, таким стройненьким? При внешнем потоке они были бы горбиком — вот такие размазанные. А они как иголочки. И двойные. Словно что-то делали. Делали два раза — туда и обратно. Что?

— Ничего, — так же невозмутимо произнесла Ираида Васильевна. — Хотя, конечно, вы имеете право на любые предположения. Но задерживать корабль, обвинять команду в контрабанде из-за таких микроскопических штрихов на ленте — это абсурд, мания преследования, извините меня. Единственное, что мы вправе сделать, — это составить докладную на имя Холяева, а после разгрузки корабля запросить бригаду на дополнительную выверку приборов.

— Ираида Васильевна, — отчеканивая каждое слово, проговорила Симона, — команда «Бригантины» систематически открывала люк грузовой камеры. Вернее, люк в тамбурную между пассажирским и грузовым отсеками. Первый всплеск радиации отмечен дозиметром во всей своей красе. Все последующие глушились дезактиватором — им просто закрывали дозиметр.

— Доказательства.

— Вот полюбуйтесь. Я послала кибера в каюту, он приподнял люк. Ровно на то время, которое требуется человеку, чтобы спуститься в тамбурную камеру. Вот пик. Забавное тождество, не правда ли? А вот то же самое, но дозиметр закрыт растробом дезактиватора. Убедительно?

— Похоже, — как-то чересчур быстро согласилась Ираида Васильевна. — Но помните старинную геологическую притчу о лягушке, которая прыгнула в ямку с сейсмографом, отчего тот зарегистрировал землетрясение в десять баллов? Между прочим, над незадачливым прибористом, который думал, что он проспал такое землетрясение, все смеялись. Мне что-то не хочется, чтобы вся система «Первой Козырева» потешалась над тем, как на «Арамсе» тоже открыли несуществовавшее землетрясение.

— Все равно, — упрямо проговорила Симона, — моей визы на разгрузку «Бригантины» не будет.

Ираида Васильевна только руками развела.

— Чего же вы требуете?

— Вскрыть контейнеры с грузом.

Тут даже Ада разинула рот.

— Симона, — проговорила она, — ты... это же двести восемьдесят штук!

— А что делать? Где искать?

— Что искать? — буквально застонала Ираида Васильевна. — Если бы вы хоть сами могли предположить, что искать?

— Причину, по которой американцы спускались в тамбурную камеру.

— Так и ищите в тамбурной.

— Голые стены. Голые титанировые стены. Титанир в тридцать миллиметров толщиной. Так что камера исключается, хотя они именно в нее и ползали.

— Наденьте антирадиационный скафандр и сами идите в камеру, — решительно распорядилась Ираида Васильевна. — Если вы там ничего не обнаружите — сегодня вечером «Бригантина» уйдет на «Первую Козырева».

— Надо думать, не уйдет. А тебе, Паша, что?

— Ничего, — кротко сказала Паола. — Прибраться хотела.

«Слышала, радуется», — подумала Симона.

— Иди спать. Третий час. Только притащи нам сифончик, мы ведь тут до утра. Если не до вечера.

— Сейчас.

Паола застучала каблучками по коридору. Но Симона ошиблась — радости не было. Что-то случилось. Что-то нависло над ними. Просто так корабль не задерживают.

А знают ли они?

Паола тихонько ахнула, сифон упал на пол и запрыгал, как мячик. Никогда еще она сама не включала каюту капитана. Она убирала ее перед приходом корабля, приготавливала земной костюм и ставила четыре махровых мака, но никогда не включала сама фон его каюты.

Паола оглянулась — никого. Щелкнула тумблером.

Дэнниел стоял у иллюминатора. Сейчас из его каюты нельзя было увидеть Землю, и он смотрел просто в темноту, и Паола вдруг поняла, как же худо ему и как она ничем, никогда не сможет ему помочь. Потому что она никогда не будет нужна ему.

— Капитан, — сказала она шепотом.

Дэнниел обернулся. Увидел Паолу. Всего только Паолу.

Паола проглотила сухой комочек.

— Не хотите ли какую-нибудь книгу, мистер О'Брайн?

— Благодарю. Я не люблю читать урывками.

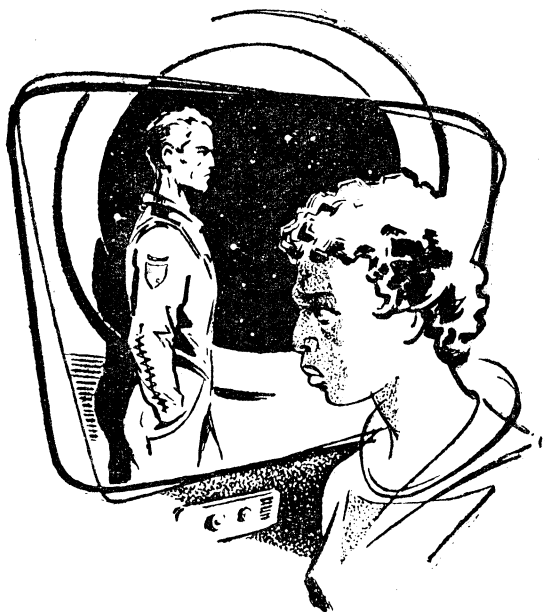
— А если вы здесь задержитесь, мистер О'Брайн?

Дэнниел долго и очень спокойно смотрел на Паолу. Смотрел так, как нельзя смотреть на некрасивых.

— Благодарю вас, мисс, — сказал он просто. — Пришлите что-нибудь по вашему выбору.

А Симона с Адой действительно просидели до утра. Симона в тяжеленном скафандре облазила всю тамбурную, и, когда утро наступило, не оставалось ничего, как сидеть до вечера, и Симона с Адой снова сидели, до слез вглядываясь в желтовато-оливковый экран, на котором было видно, как всеильные киберы обнюхивают и простукивают каждый контейнер, каждую пядь стен, переборки и леков, и каждый паз, и каждую заклепку, и — ничего.

И ничего.



### VIII. БЕЛЫЙ КАМЕНЬ У МЕНЯ, У МЕНЯ...

— Вот так, — сказала Ираида Васильевна. — Не вижу оснований продолжать карантин. Киберы и механизмы «Бригантины» убрать, в помещениях станции поднять синтериклон.

Симона свесила лохматую голову на правое плечо, пошла выполнять приказание. Хорошо, что успела обо всем доложить Холяеву еще утром — сейчас уже было бы поздно, уже вечер.

Этот прощальный вечер за общим столом, не разделенным на две половины, всегда носил отпечаток какой-то торжественности. Сама церемония поднятия перегородки уже символизировала объединение со всеми людьми Земли. Обычно незадолго до нее командир станции вызывал с «Первой Козырева» буксирную ракету, и таким образом первый общий ужин превращался в прощальный. Паола, побледневшая и повзрослевшая, бесшумно наклонялась над креслами — по традиции, установленной

ею самой. В этот прощальный вечер никакие киберы в кают-компанию не допускались. Официально это подчеркивало уважение хозяев к гостям, на самом же деле — позволяло Паоле хотя бы невзначай подойти к капитану О'Брайну.

Симона, так и не ложившаяся в эту ночь, сидела, подпершись рукой на манер Ираиды Васильевны, а за столом царствовал неугомонный Санти, который, притворно вздыхая и чересчур демонстративно добываясь всеобщей жалости, рассказывал горестную историю своего детства, прошедшего в унылой и академической обстановке роскошного дворца его папочки, миллиардера старого закала, который довел своего единственного сына до необходимости сбежать в школу космонавтов, за что последний был пр-р-роклят со всей корректностью выходца из викторианской Англии.

Санти пожалели и накормили манговым джемом.

Ираида Васильевна качала головой, простодушно удивлялась.

— Прямо не верится, что у вас так не жалуют космолетчиков. Вон у нас Колю Агеева каждый школьник знает.

— Тем не менее это действительно так. Интерес к межпланетчикам угас сразу же, как прекратились сенсации. Установление же регулярных рейсов Венерой, Марсом, Землей и астероидами низвело космолетчиков до положения шоферов или даже кучеров. Не смейтесь. Это печально, потому что такое отношение к нам господствует не только в высших кругах, но распространилось на все слои общества.

— Да, — вставила Паола. — «На своей Земле» — помните?

— «На своей Земле»...

Это была модная американская песенка, и написали ее явно не профессионалы, это чувствовалось и по довольно примитивной мелодии и по словам, неуклюжим и грубоватым, и все заставили Санти ее спеть, и Паола согласилась подпевать, и только капитан немного нахмурился, когда Санти затянул, отбивая такт тонкими и аристократическими (теперь-то это сразу бросалось в глаза) пальцами:

Пусть другие оставят родной порог,  
Уходя на космическом корабле, —  
Нам хватит забот и хватит тревог  
На своей Земле, на своей Земле.

Пусть другие целуют своих подруг,  
Унося тоску о земном тепле;  
Нам хватит нелегких своих разлук  
На своей Земле, на своей Земле.

Пусть других погребает навек Луна,  
Пусть другие сгорают в межзвездной мгле,  
Но горя и так мы хлебом сполна  
На своей Земле, на своей Земле...

— А песенка-то с душком, — сказала неожиданно Симона, — и порочит славное племя межпланетчиков. Так что ты нам ее больше не пой, Паша. Одно верно: не говоря там о всяких Венерах с венерианами, мы еще хлебом забот на собственной ма-тушке.

Она постучала костяной ручкой ножа по столу, словно под его ножками действительно была Земля. И тут раздался сигнал вызова. Симона с Ираидой Васильевной переглянулись. Похоже, что на связь выходил сам Холяев. Они извинились и прошли в центральную.

Паола присела на ручку опустевшего кресла. Ну, вот и все. Ничто их не задержит. Можно уже не стесняться и смотреть, смотреть до тех пор, пока не войдет Симона и не скажет, что подходит буксирная ракета.

— Джентльмены, — сказала Симона, быстро возвращаясь в кают-компанию, — вынуждена сообщить вам, что «Бригантина» задерживается на нашей станции на неопределенное время, — и оглянулась на Ираиду Васильевну.

Холяев разрешил задержать «Бригантину» только на двенадцать часов.

— Миссис Монахова, — капитан поднялся, — я прошу представить мне фон для переговоров с правлением компании.

— Прямая связь с Вашингтоном завтра в девять пятьдесят. Но если вы настаиваете...

— О нет, это время меня вполне устраивает. Тем более что характер груза допускает и более длительную задержку.

Санги, поднявшийся было вместе с капитаном, плюхнулся обратно в кресло.

— Ну, а что касается меня... — он запрокинул голову, глянул на Паолу и почти счастливо засмеялся, — то я ни о чем ином и не мечтал.

Капитан сдержанно поклонился всем присутствующим и повернулся, чтобы идти в каюту. Но Симона стояла у двери, ведущей в коридор, и ему пришлось поклониться ей отдельно, и она ответила ему приветливым кивком, даже слишком приветливым для того, чтобы не быть насмешливым. Чертова баба! Все они чертovy бабы.

Дэнниел уперся лбом в холодное стекло иллюминатора. Все они... Ерунда! Вовсе не все. Их и нет — всех. Существует только одна — эта проклятая Симона. Североафриканская лошадь. Грязная марокканка.

Что бы там ни пел этот красавчик Санги про то, что космонавты утратили свою былую популярность, — все равно Дэнниел чувствовал себя вне конкуренции — «джентльмен космоса», черт побери, такие титулы остаются пожизненно и чего-то да стоят. И если в промежутках между двумя рейсами прихоть толкала его к какой-либо женщине, то будь она хоть дочерью президента компании, а не такой вот черной образиной...

— Капитан, — раздался голос, непохожий на все те голоса, которые могли обращаться к нему просто так — капитан.

Дэнниел включил экран.

В каюте теперь были двое — капитан «Бригантины» Дэннел О'Брайн и Санти Стрейнджер, мальчишка, второй пилот в первом рейсе.

— Капитан, — и снова этот удивительный голос, звенящий, как труба, подающая сигнал к началу военных действий, наполнил маленькую каюту, — «Бригантина» не идет на «Первую Козырева», значит, у нас не будет предлога, как всегда, включить регенератор. А запаса воздуха хватит лишь на полдня. Если этой ночью кто-нибудь из нас не попадет на корабль и не наполнит резервуар свежим воздухом — груз погибнет. Есть единственный выход, поэтому вы сделаете вот что, капитан...

Он не предлагал и не приказывал. Он просто сказал: «Вы делаете, капитан».

Когда Дэннел вернулся в кают-компанию, Симоны там уже не было. И этой, с геометрическими бровями, тоже. Дэннел облегченно вздохнул. Главное — никто не посмеет следить за ними...

— Мисс, — сказал он, обращаясь к Паоле, — не будете ли вы любезны провести меня в библиотеку?

Ираида Васильевна вдруг улыбнулась так широко и недвусмысленно, словно О'Брайн обратился именно к ней.

— Да, конечно, конечно, — закивала она. — Паша с радостью...

Паола, потерявшая дар речи, стояла перед ним и все дергала свою голубую форменную курточку, и он улыбнулся своей сдержанной улыбкой «джентльмена космоса», и тогда Паола, словно ее подтолкнули в спину, засеменила по коридору к библиотеке, даже забыв пригласить Дэнниела следовать за собой.

— Вот, — сказала она, когда дверь за ними закрылась и они очутились в тесной комнатке, заставленной книгами и ящиками с обоями микрофильмов.

«До чего же не хочется», — подумал Дэннел и, протянув руку, взял первый попавшийся пухлый том. «Атлас цветов и растений». Чутье какая. Станция, летящая в Пространстве, — и «Атлас цветов и растений». А то, что он сейчас сам делает, — это не чутье?

— Вы изучаете цветы? — медленно — до чего же не хотелось говорить! — произнес он.

— Нет, — Паола прижала руки к животу, смотрела на него снизу вверх, благоговейно хлопая ресницами. — Я просто их люблю.

— Любить — это прежде всего знать, — так же медленно и прекрасно понимая, что он говорит откровенную ересь, заметил О'Брайн. Было все равно, что говорить. Нужно было только дать себе время на то, чтобы побороть естественную гадливость, внушить себе, что ты солдат, а не кисейная барышня; солдат добровольный, чье жалованье — независимость на время полета, а долг — вот это. А потом прикрыть глаза, задержать дыхание и сказать: «Иди сюда». — Любить — это знать, — повторил О'Брайн, только чтобы не говорить того, что нужно сказать.

— И нет, — сказала Паола, — и не обязательно. Вот самые мои любимые цветы — глицинии. Это огромные лиловые коло-

кольчики, глянцевые, словно сделанные из восковой бумаги, а листики малюсенькие, темно-зеленые и тоже словно восковые. Если цветок в воду бросить — он потонет, тяжелый такой. А под водой засветится лиловым светом. Это мои глицинии. Я их такими люблю. А какие они на самом деле — не знаю. Никогда не видела. Но ведь это неважно, правда? Важно, какими я их люблю.

Дэниел не отвечал ей. «А я никогда не был на севере Африки, — думал он. — Для меня Марокко — это тонкий белый песок, и не холмами — ровной пеленой, как снег. И эта огромная женщина с копной жестких, звериных волос... Чтобы схватить за эти волосы, бросить на песок и видеть глаза, черные до лилового блеска, остекленевшие от ужаса, как замороженные сливы, и живой хруст ломающихся пальцев...»

— Поди сюда, — сказал капитан О'Брайн, и Паола не шагнула — качнулась навстречу ему — просто ноги не успели сделать этого шага.

Марсианин сидел, выставив заднюю ногу пистолетом, и вылизывал ее, так что розовая шерсть ложилась лоснящимися влажными дорожками. Когда Симона подошла, он опустил ногу и с убийственным акцентом сказал:

— Бынжюр.

— Привет, — сказала Симона, присаживаясь перед ним на корточки. — Ты Аду видел?

— Не видел, — сказал марсианин.

— А Ираиду Васильевну видел?

— Не видел, — снова сказал марсианин. — А вот Кольку твоего видел. Он сюда летит. Скоро будет.

— Где же скоро? — вздохнула Симона. — Еще два с половиной миллиона лет ждать.

— Больше ждала, — наставительно заметил марсианин и почесал пушистое кремовое брюшко. — И еще подождешь.

— А Паолу видел?

Марсианин потянулся и откопал в красной марсианской траве старенький транзисторный приемник. Полились сладкие звуки «Свадебного марша» Мендельсона.

— Счастливая Паша! — патетически воскликнул марсианин голосом Ираиды Васильевны.

— Что-то ты врешь сегодня, — заметила Симона, — всем счастья наобещал.

— А я так и должен, — сказал марсианин, — я розовый.

Симона рассердилась на него — и проснулась.

Еще не вполне сознавая что к чему, она подняла руку и щелкнула тумблером.

— Пашка, — позвала она, — Пашка!

Экран фона упорно оставался темным: видно, Паола еще не приходила в свою каюту. Симона мельком глянула на часы —

крошечный такой кружочек на огромной смуглой ручище. Скверно — половина двенадцатого, проспала больше, чем собиралась. Но где же этот чертенок? Просила ведь по-человечески — разбудить через час.

Защелкали тумблеры короткого фона: кухня, коридор, кладовая, салон... Пусто. Симона вскочила. Последние кнопки, судорожные вспышки контрольных лампочек: кибернетическая — ванная, шлюзовая — библиотека — все.

И — каюта начальника станции.

— Паша... — выдохнула Симона, словно всю станцию она сейчас обежала бегом.

— Это я разрешила, — каким-то деревянным, безжизненным голосом произнесла Ираида Васильевна.

Симона сунула босые ноги в туфли и, как была в мятой после сна юбке, лохматая, вылетела в коридор и ворвалась в каюту своего начальника.

— Пашка что — у него?

Ираида Васильевна, прямая как палка и застегнутая на все пуговицы, стояла посреди каюты.

— Час назад Паола Пинкстоун попросила разрешения вместе с капитаном О'Брайном осмотреть «Бригантину».

Симона села на ее аккуратно застеленную постель.

— Какого черта?!

— Симона, — отчеканила Ираида Васильевна, и Симона стало до отчаянья ясно, что ничему уже не помочь, и вовсе не потому, что в Пространстве приказы начальника не обсуждаются — именно за этим она сейчас и прибежала; но уходит время и вместе с ним возможность вытащить эту дурочку из всей этой помойки, — как начальник станции я несу ответственность...

— Ах, да при чем здесь инструкция! — Симона запустила пальцы в волосы, потом откинула их, чтобы не мешали смотреть, и тихо, глядя в упор на раскосые, как у Митьки, глаза, спросила: — Послушайте, а вы вообще разбираетесь в мужчинах?

Ираида Васильевна побледнела до желтизны.

— Нет, — сказала она, — ну и что же?

— А вы можете мне поверить, что это всего лишь забава, случайная ночь на станции, эдакая перчинка после президентских дочек и грудастых фонов звезд.

— Да, — сказала Ираида Васильевна, — ну и что же?

Тут даже Симона оторопела.

— Пусть даже вы не ошиблись, — продолжала Ираида Васильевна. — Ну и что же? Пусть — так, и все-таки это может стать для нее счастьем на всю жизнь. Чудес не бывает, Симона, и капитан этот, баловень, никогда не поймет, что за невзрачной рожцей — человек. Не без глаз я, вижу, что не пара они. Ну и что же? Уйдет. Бросит. Забудет. Но для нее-то — на всю жизнь, да так, чтобы каждую ночь вспоминать. Потому что нет счастья горше и священнее, чем счастье памяти. Только откуда вам про такое счастье знать? У вас-то оно всегда при себе... А если и беду обернется для нее эта ночь, все равно это будет ЕЕ горе. И чем бы это ни было — все равно для нее это слишком большое, чтобы чужими руками заслонять...

Симона поднялась, пошла к иллюминатору. «Это я-то не знаю, что такое счастье памяти?» — и задохнулась вдруг, потому что так вот иногда не хватало его, как в миг смерти не хватает жизни.

Было слышно, как Ираида Васильевна тяжело опустилась на стул.

— Паша — взрослая, — сказала она уже другим голосом. — Не Митя же, в самом деле. А вообще странно, что не вы мне, а я вам все это говорю. Вроде бы вы должны были взять Пашу за руку да к капитану ее свести — люби, мол, куда любитесь. Вы уж простите меня, Симона, только странно мне как-то, что на любовь-то вы только для себя щедрая.

Симона повернулась и вихрем вылетела в коридор. Сзади, в аккуратной маленькой каюте Ираиды Васильевны, что-то валялось и рушилось.

— Ты знаешь?.. — спросила Ада.

Симона кивнула.

— У них там три кибера, не успели еще вывести. Все на контроле приборов. С передачей в центральную. О'Брайн включил только регенератор воздуха.

— Естественно, — сказала Симона.

Некоторое время обе они молчали, невольно прислушиваясь, словно из планетолета могли донестись какие-нибудь звуки.

— Знаешь, я много раз думала, — продолжала Ада: эти ночные бдения в центральной удивительно располагали к неторопливым беседам, — когда же наша Ираида решится хоть на какой-нибудь самостоятельный шаг, хоть на вершок выходящий за рамки инструкции. Но уж никогда не предполагала, что это может случиться по такому поводу.

— А что? — устало возразила Симона. — Все правильно. Хороший повод — счастье человеческое. А ты еще не думала, почему именно она — начальник нашей станции? Именно поэтому. Потому, что она всех нас человечнее. И спокойнее. Дай нам с тобой волю, мы бы эту несчастную «Бригантину» по винтикам разнесли. А потом неизвестно, кто платил бы штраф в пользу этого Себастьяна Неро. Потому что нет ничего. Это нам только хочется всяких там чудес. Приключений.

— А ты устала, — спокойно заметила Ада.

— Ничего не устала, — фыркнула Симона. — Просто она права. Плевать надо на все инструкции и заботиться об одном — как даже самую маленькую, самую ненужненькую любовь вынянчить, вылизать, отогреть. Как слепого звереныша. И потом только любоваться, как она вырастает в могучее, прекрасное чудышко.

— Чудо — или чудовище? — скептически ухмыльнулась Ада.

— Чудышко. Невероятное и каждый раз доселе невиданное.

— Ерунда, — решительно заявила Ада. — Вот меня занимает один вопрос: почему из пассажирского отсека в тамбурную сделан узенький люк — ровно на одного человека, а из тамбурной в грузовой отсек — широченный, как раз такой, что целый контейнер пролезет?

— Заскоки конструкторской мысли, — махнула рукой Симона

и потянула к себе план расположения контейнеров в грузовом отсеке.

Над этим планом, накануне уже изученным вдоль и поперек, они и просидели до утра, до пяти часов, когда дверь в центральную неожиданно откатилась и на пороге появилась Паола. Она вошла и остановилась, потому что не ожидала встретить никого, да и не могла ожидать просто потому, что не помнила ни о чем, и шла, как пьяная, шла тихонечко-тихонечко, словно то, что было, еще лежало на ее руках, и губах, и на всей ней, и это надо было не стряхнуть, уберечь... И когда увидела Симону и Аду, вдруг не расплылась, как должна была бы, в своей детской улыбке, а посмотрела на них спокойно и чуть-чуть горделиво, как равная на равных.

Все молчали, и вдруг Ада, может быть, немного ошалевшая после второй бессонной ночи, спросила:

— Ну что?

Паола некоторое время молчала, видимо соображая, о чем ее спросили; потом ответила — опять очень спокойно, без улыбки:

— Вполне современный корабль. Душно только.

И вышла, бесшумно притворив дверь.

— Ты что, обалдела? — спросила Симона.

— Обалдеешь, — ответила Ада. — Двести восемьдесят. Почти три сотни бетонированных бегемотов.

— Вот именно, — задумчиво проговорила Симона, — почти три сотни. Почти. На «Первой Козырева» их будут перегружать прямо на американских «муравьев», и кто заметит, если их вдруг окажется двести восемьдесят один...

— Ну, знаешь, спрятать целый контейнер — это невероятно.

— Вот это мы сейчас и проверим. Кстати, есть у нас обыкновенная рулетка? Не кибер-измеритель, а просто рулетка? Чудно. Подними-ка заслонку.

Ада подождала, пока Симона наденет лиловый скафандр, поблескивающий морозной пылью, словно очень спелая винограда; потом нажала молочную клавишу, и прозрачная пленка, закрывавшая трап, перекинутый на корабль, поднялась и пропустила Симону. Ада включила шлюзовую «Арамиса»: было видно, как Симона, пригнувшись, входит в черную дыру перехода.

Около девяти часов, наскоро позавтракав в своих каютах — вместе все собирались только за ужином, — экипажи таможенной станции и американского корабля сошлись в кают-компаниях. Все подтянутые, корректные, сдержанные. Симона, нагнувшись над межпланетным фоном, старательно настраивалась на Землю — пусть этот джентльмен поговорит со своим Вашингтоном. Все равно в двенадцать часов придется их отпустить, и международного скандала не получится. В крайнем случае Холяев принесет извинения.

Космолетчики расположились возле двери.

«...продукцию фирмы «Синетикал альбумин». Мы далеки от мысли выдать нашим слушателям секрет синтеза белковых веществ. Скажем больше — мы сами его не знаем. Чудодейственный катализатор, известный только самому Себастьяну Неро, этому знаменитому ученому, крупнейшему бизнесмену, выдающемуся политическому...»

Симона приглушила звук, обернулась — уж очень это противно, когда у тебя между лопатками ползает вот такой взгляд. Хотя бы ради приличия смотрел на Паолу... Ага, догадался, гад. И то хорошо.

На экране фона замелькала зеленая вспышка — сигнал того, что обе стороны вышли на связь. И тотчас же экран озарился малиновой апоплексической лысиной знаменитого ученого и крупнейшего бизнесмена, единоличного хозяина «Бригантины».

Дэниел О'Брайн вытянулся по-военному, заслонив собой остальных.

— Сэр, доверенный мне корабль задержан на таможенной станции «Арамис» без указания причин.

— Знаю, — сказал Себастьян Неро и, приблизив к экрану бесцветные глаза, медленно добавил: — Инструкции вам известны.

Экран погас.

Собственно говоря, ничего не было сказано, но тем не менее у Симоны осталось ощущение, словно американцы получили какой-то приказ, причем в такой форме, которая исключала неповиновение.

— Мне очень жаль, — поднялась Ираида Васильевна, — что из-за кратковременности связи мы не могли уточнить причину вашей задержки и мистер Неро оказался не полностью информированным. Дело в том, что мы запросили разрешение на вскрытие контейнеров с грузом здесь, на нашей станции.

Космолетчики поднялись и подошли к своему капитану.

— Имеете ли вы основания для такого требования? — спросил О'Брайн.

Симона из своего угла вставила:

— Оснований, которые мы могли бы предъявить вам здесь и сейчас, мы не имеем.

Все, как по команде, повернулись к ней.

— И все-таки вы настаиваете на вскрытии всех двухсот восьмидесяти контейнеров?

— Да, — сказала Симона и с откровенным любопытством поглядела на них снизу вверх, — но особенно интересует меня двести восемьдесят первый контейнер — тот, который лежит на полу промежуточной тамбурной камеры между грузовым и пассажирским отсеками.

Санти небрежно повел плечиком.

— В том, что эта камера пуста, мы легко убедимся, если свяжемся с ней по короткому фону.

— Короткий фон для связи с вашим кораблем находится в центральной рубке, о чем я весьма сожалею, — не вставая со своего кресла, проговорила Симона. — А то, что под тамбурной камеры — это верхняя крышка плоского контейнера, можно доказать простым вскрытием пола.

— Я прошу немедленно послать на базу запрос на соответствующую аппаратуру для резки титанира. А пока — весьма сожалею.

Дэниел сдвинул каблучки. Симона в ответ свесила голову на-

бок. Но Дэниел уже не смотрел на нее, а шел к Паоле, но остановился, не дойдя одного шага, и наклонился над ней так бережно, что все отвели глаза, и что-то очень тихо сказал ей, и она подняла к нему свою обезьянью мордочку, ничуть не похорошевшую, как почему-то всем хотелось, и с каким-то безнадежным спокойствием, потрясшим Симоу, ясно, на всю комнату, сказала:

— Да.

Капитан обернулся к остальным межпланетчикам, и они, не произнеся больше ни слова, вышли из кают-компании.

«Кажется, я порядочная дубина», — почти без тени сомнения подумала Симона.

Паола легко, как-то плечами оттолкнулась от стены, неслышно пересекла комнату и исчезла за дверью, ведущей в центральную.

— Ну, Симона, ты сегодня... — Ада только головой покрутила, — фантастика на грани техники.

— Да, — согласилась та, — насчет контейнера, что в промежуточной камере, я малость перегнула. Хотя это не исключено — размеры совпадают, там на полу как раз поместится контейнер. Пошлю на «Первую Козырева» частное заключение — пусть еще раз проверят, прежде чем ставить «Бригантину» на перегрузку.

— Да, Симона, — сказала Ираида Васильевна, — я вам не советую показываться на глаза этой троице, когда в двенадцать за ними придет буксирная ракета. А пока...

Но Симона уже бежала к центральной, еще не осознав, что там случилось, гонимая тем шестым чувством каждого межпланетчика, какого, может быть, объективно и не существует в природе, но которое все-таки подняло ее и бросило вслед Паоле; и в проеме распахнувшейся двери все увидели голубую фигурку, лежащую на пульте внутреннего управления, чтобы всей тяжестью тела, всей силой маленьких рук вдавить в гнездо выпуклую, словно белый камушек, клавишу перекрытия трапа.

Синтериклоновая заслонка была поднята, проход на «Бригантину» открыт.

## IX. ПЯТЫЙ АКТ

— Сюда! — крикнула Симона и, когда Ираида Васильевна с Адой вбежали в центральную, сорвала предохранительную сетку и замкнула цепь герметизации всех отсеков.

И только после этого подняла огромную руку и смахнула Паолу с пульта.

Паола упала на колени и некоторое время так и лежала не

шевелилась; потом подняла лицо — спокойное лицо человека, который сделал все, что должен был и что мог, и увидела на экране черную кишку трапа, и поняла, что там, на «Бригантине», уже успели задрать люк; а потом всю станцию трянуло, и Симона вцепилась в верньер генератора силы тяжести, и на миг стало легко, а потом станцию бросило в сторону и завертело, и Паола не могла понять, что же происходит, и хваталась за металлические коробки приборов, но руки соскальзывали с покатых, крытых серебристым лаком плоскостей, и все это было еще не так уж страшно, пока пол вдруг не вздыбился вверх, и нечеловеческий ужас крушения мира, взметнувшийся, как веер взрыва, заслонил собой и гибнущих рядом людей, и гремящий водоворот неподвижных доселе вещей, и даже мысль об уходящей «Бригантине», оставляя крошечному, ежавшемуся в комок телу только маленький страх собственного бесследного исчезновения.

А потом все вдруг разом остановилось.

И Симона, висевшая каким-то чудом на пульте, сползла на пол.

— Едва вырвались из-под дюз, — хрипло сказала она лежащей рядом Ираиде Васильевне и вытерла лицо рукавом свитера. — Хотели сжечь двигателями, сволочи.

Свитер был грубый, из распухших губ пошла кровь. Симона поднялась на колени, включила экран внешнего обзора.

— Уходят... — и резко поднялась. — Ада, на локатор! — И еще одна предохранительная сетка полетела на пол, сетка, не снимавшаяся еще нигде и никогда. — Торпеды, Ада!

Это жуткое, древнее, как сама война, слово подняло Паолу, и она, перескочив через Иранду Васильевну, все еще лежавшую на полу, повисла на руке Симоны.

— Не смейте! Там же люди! Слышите? Не смейте! Это же убийство!

Симона стряхнула ее и, видя, что Ада поднимается с трудом, сама потянулась к локатору, и Паола снова бросилась на нее, вцепилась мертвой хваткой, закрыв глаза и хрипя, захлебываясь, задыхаясь, цепenea:

— Не дам... Убийцы... Негодяи... Коммунисты...

Пол снова наклонился, радужная точка на экране локатора нырнула под перекрещение черных нитей, и тогда Симона, не пытаясь больше отделаться от Паолы, двумя руками надавила четыре маленькие клавиши.

Станцию трянуло в последний раз, четыре ракеты вырвались вперед из невидимых до сих пор гнезд и помчались к уходящему кораблю, расходясь, чтобы не попасть под огонь его дюз. Вот они обогнали его и снова сошлись, и Паола уже просто смотрела на экран и молча ждала взрыва. Но его не было, потому что ракеты создавали только тормозящее поле, в котором корабль неуклонно терял скорость, пока не останавливался совсем; но Паола еще этого не знала и с безучастностью все потярявшего человека смотрела куда-то мимо экрана, мимо невероятного хаоса разгромленной центральной, мимо спокойного лица Ираиды Васильевны, почему-то все еще лежавшей на полу,

и смотрела, и смотрела, пока в это оцепененье не ворвался страшный гортанный вскрик Симоны.

Стены огромного — не в пример уютным помещениям «Арамиса» — кабинета Холяева были сплошь покрыты картами и экранами; но светился только один — не диспетчерская же, в самом деле; и на этом экране было видно, как два тяжелых буксира подтягивают «Бригантину» обратно к «Арамису». Патрульные ракеты, как мальки, стайкой шли поодаль. Вот буксиры отцепились, и Симона увидела, как Ада повела станцию на соединение с кораблем. Хорошо повела. Очень хорошо для первого раза.

Затем Холяев включил шлюзовую «Арамиса», и было видно, как маленькие киберы безуспешно пытаются навести трап, искалеченный и смятый, когда корабль американцев в чудовищном выраже стряхнул со своей спины маленькую станцию. На помощь киберам уже спешили люди в скафандрах, те самые, которые только что прибыли на «Арамис» и сняли Симоны. Они подняли там возню, в которой разобраться было невозможно. Симона не стала больше смотреть и снова спросила Холяева:

— Ну, так ты дашь ракету?

Холяев постукивал карандашом по столу и, чтобы не смотреть на лицо Симоны с разбитыми лиловыми губами, смотрел на ее юбку, по которой узкий, как царапина, тянулся след крови, и думал, что кровь, наверное, и на свитере, только не видно — темный, и сказал:

— Переделась бы. Нет ракеты.

— Жуткое дело. — Симона запустила пальцы в спутанные волосы. — Ты только представь себе, Илья, сейчас же грохнут по фоностанции, и под траурный марш... Ты представляешь, услышать это по фону! Ей-богу, ты дубина, Илья, или ты просто не хочешь понять, что ребенку оказаться один на один с таким горем...

— Он там не один, — терпеливо сказал Холяев. — И притом он не просто ребенок. Он мальчишка.

— Знаю. И что мальчишки, ох, сколько могут — тоже знаю. Но я знаю также и то, что Митьке будет легче, если это скажу ему я. Или просто буду с ним тогда, когда он услышит.

— Да пойми же, — Холяев стиснул кулаки, и полированная крышка стола скрипнула под его руками, но казалось, что это пискнул кто-то, зажатый в его кулаках. — Пойми, Симона, у меня всего один «муравей», готовый к рейсу, и американцы уже запросили своих бандитов, если только они будут транспортальными.

— А, ерунда какая, — отмахнулась Симона. — Пусть сами присылают специально оборудованный корабль со всякими решетками и полицией. Дай эту ракету мне. Ты же понимаешь, ты же человек. Илья, мне нужно к этому мальчику! Дай мне ракету до Душанбинского, ее тотчас же вышлют обратно.

— Не могу.

Симона встала и пошла прямо на Холяева, но между ними был большой, привинченный к полу письменный стол, и Холяев без особого восторга стал думать, что же она сейчас будет делать, но Симона просто перегнулась через стол, и вдруг взя-

ла обеими руками его голову, и, приблизив к нему свое оливково-смуглое лицо с разбитыми губами, стала говорить, не переставая, монотонно, словно ставя точку после каждого слова:

— Мне нужно на Землю, мне нужно на Землю, мне нужно...

— Черт, — сказал Холяев и, перехватив руки Симоны выше запястий, с трудом отвел их от своего лица. — Вражья баба! Через три часа пойдет грузовик, весь рейс в скафандре и семь «g». Довольна?

Симона только усмехнулась какой-то дикой усмешкой, и из ее губ сразу же начала сочиться кровь.

— Спасибо, Илья. Если что — вызовешь.

— Посиди еще, — сказал Холяев, — только молча. Сядь вон туда и протяни ноги.

Симона послушно села, и протянула ноги, и снова стала смотреть на экран. На «Арамисе», наконец, наладили трап, и вот из его дыры показалась одна фигура космолетчика, другая, и головы их были опущены, так что Симона с трудом узнавала, кто же это может быть; некоторое время никто больше не показывался, и вот, наконец, вынесли третьего. Третьим был капитан.

Симона пожала плечами и отвернулась.

Дэниел О'Брайн пришел в себя — пришел так, как будто действительно уходил куда-то очень далеко от своего тела, а вот теперь пришел обратно и влезал в свое тело, как в скафандр, — по частям, только начиная не с ног, а с головы. Прежде всего возникла тупая боль, словно огромная клешня обхватила сзади затылок. А потом, когда сквозь эту боль начали пробиваться воспоминания, перед глазами с забавной пунктуальностью поплыли кадры побега с «Арамиса», и Дэниел удивлялся, как это он с такой точностью умудрился запомнить и лихорадочную дрожь куцых рук Мортусяна, и закушенные, как у взбесившегося жеребца, губы Санти, и собственное безразличие, неожиданно и безраздельно овладевшее им, когда люк, наконец, был задраен и ощущение первой легкой удачи наполнило всех.

И тогда Санти, поняв его состояние, оттолкнул его от пульта управления и сам запустил маневровые двигатели. «Бригантина» ринулась в чудовищный вираж — Санти стряхивал с себя станцию. Но когда вслед за этим Санти врубил запуск планетарных двигателей, Дэниел вдруг понял, что сейчас «Арамис» окажется под огнем дюз, и, преодолевая навалившуюся на него тяжесть, он бросился на Стрейнджера, но тот, не отрывая рук от рычагов управления, крикнул:

— Пино!

Этот крик, хлесткий, как плетью — по собачьей спине: сопенье Мортусяна где-то сзади; и сквозь лиловую муть перегрузки — страшный удар по затылку, бросивший его в невесомость беспамятства. Последнее, что он помнил, — это смех Санти. Все, что произошло сегодня, было страшно. Но самым чудовищным был этот смех.

А смеялся Санти потому, что инструкция приказывала: в случае неизбежной опасности корабль взорвать или увести на бес-

конечность. Об этой инструкции Мортусян не знал. Поэтому Санти оглянулся на него и засмеялся.

Потом он снял ненужное теперь ускорение и заклинил рули. «Бригантина» уходила в Пространство. Но этого Дэниел уже не помнил. Не очнулся он и тогда, когда с кораблем начало происходить то, чего никогда еще не было: казалось, что он зарылся носом во что-то вязкое, словно лодка, на полном ходу врезавшаяся в илистый берег. И снова толчок и снова, и вот эти ритмичные броски назад слились в непрерывную пульсацию, и Мортусян, с ужасом глядевший на Санти, словно тот был виновником всего происходящего, понял по его лицу, что с кораблем случилось что-то сверхъестественное, с чем он не в силах справиться. На самом же деле ничего сверхъестественного не было, просто «Бригантина» тормозила в силовом поле посланных Симоной торпед.

Дэниел очнулся, когда его переносили обратно на «Арамис». Он открыл глаза и увидел себя в шлюзовой «Арамиса».

Кто-то нес его, но даже не видя кто, О'Брайн чувствовал, что это не Санти с Мортусяном, и это было хорошо: он ничему не удивлялся, хотя «Арамис» вроде бы должен был превратиться в ком сплавленного железа. Но этого каким-то чудом не произошло, боль в голове тоже утихала, и все было хорошо. Все было хорошо и чертовски спокойно, пока где-то вверху не раздался шорох поднимающейся двери, и в открывшемся прямоугольнике, как на экране фона, застыло затравленное, уже совсем не похожее на человечье личико маленькой стюардессы.

О'Брайн понял, что еще через мгновение она закричит и, расталкивая окружающих его людей, ринется к нему. Он не знал этих людей, и все же его обуял безудержный стыд перед этими людьми за то, что вот ЭТА имела право на жалость к нему, капитану О'Брайну.

Он сделал усилие и отвернулся. И тогда с другой стороны увидел настоящий экран, и на нем усталое, осунувшееся лицо Симоны. И снова он не удивился, хотя вроде бы Симона должна была быть здесь, на «Арамисе», а не где-то далеко и рядом с начальником русской станции; и снова он подумал, что все хорошо, раз эта женщина жива, и, сам удивляясь тому, что он говорит, он с трудом разжал губы и произнес:

— Я командовал кораблем до последнего момента и один несу ответственность за все, что произошло на его борту.

Гримаса отвращения пробежала по лицу Симоны, и она выключила экран.

— Все еще играет в джентльмена, — сказала она Холяеву. — Ну, скоро твой грузовик?

— Посиди, посиди, — Холяев наклонил голову, прислушиваясь к щбету, доносившемуся из фоноклипса. — Сейчас будет самое интересное — приступили к вскрытию пола в тамбурной камере. Похоже, что это действительно тайник. А до грузовика еще час двадцать.

Симона уселась и стала безучастно глядеть на экран; два

кибера на присосках кромсали титанир, с трудом отгибая тридцатимиллиметровый слой сверхпрочного сплава. Они ползли сантиметр за сантиметром, пока не наткнулись на какое-то препятствие, и начали возиться на одном месте; но тут сработал какой-то скрытый механизм, который они обнажили, и вдруг вся плоскость пола поехала вбок, и киберы испуганно подбежали к стенке и полезли на нее, присасываясь губчатыми лапками; но пол отъехал только наполовину, и в открывшемся прямоугольнике показалось что-то бесформенное, светло-желтое, слипшееся в комок, как лапша. Холяев, бледнея, потянулся к вернеру четкости, и тут этот комок зашевелился, закопошился, распался на ряд отдельных тел, и одно из этих тел — голое небольшое существо величиной с десятилетнего ребенка, на четвереньках поползло в сторону, и ноги его дрожали и расползались в стороны, и оно добралось до стены и стало беспомощно тыркаться в нее головой, ослепленное прожекторами киберов.

Симона схватилась за ворот свитера — стало нечем дышать.

## Х. АЛОЕ СИЯНИЕ

Было прохладно и безветренно, и желтые кленовые листья, занесенные из соседнего леса, редкими созвездиями лежали на темно-синей посадочной площадке. Симона посмотрела на Митьку, который сидел у ее ног, обхватив побитые коленки, и вдруг поймала себя на мысли, что сама она почему-то не села рядом, и стоит сейчас, и вроде бы стесняется, как в тот раз Иранда Васильевна. Ни плаща, ни сумки не было, и она опустила прямо на траву, по-осеннему клочковатую и пожухлую.

Остаток вчерашнего дня они провели вместе. Вчера Митька плакал. Дело было в лесу, и Симона отвернулась от него и присела на пенек. Сидела она долго, вертя в руках скрипучую коробочку переносного фона. Наконец услышала за собой шорох — Митька уходил.

— Митя, — тихо и почти жалобно попросила она. — Закинь мне антенну на дерево — надо с Холяевым связаться.

Этот странный, необычно мягкий голос остановил Митьку. Он вернулся, не глядя, взял тонкую синтериклоновую нить и полез на дерево. Это действительно было необходимо, потому что установить связь с космической станцией по переносному фону было делом далеко не элементарным.

«Первая Козырева» упорно не ловилась. Митька стоял, бездумно глядя на коричневую плюшку микродинамика, из которой доносился разноязыкий щебет.

— А ведь это про них, — неожиданно сказала Симона и вполголоса стала переводить. Все заокеанские станции взхлеб пе-

редавали подробности о подземных заводах (уже успели про-  
нюхать!) покойного (уже успели убрать!) Себастьяна Неро.  
Это для них «Бригантина» переправляла на Землю партии вене-  
риан; это на них получали синтетический белок, используя в ка-  
честве катализаторов неизвестные доселе соединения инертных  
газов, которые каким-то чудом выдыхали венериане.

— Гады, — Митька скрипнул зубами. — Везти людей, как  
скот...

— Венериан, — поправила Симона.

— А венериане что — не люди?

— Нет еще, — сказала Симона. — Тем и страшнее. Сейчас  
люди просто не позволили бы сделать с собой такое.

Митька повел плечами — еще бы! Пусть только попробовали  
бы. Симона чувствовала, что все это как-то отвлекает его от  
своего горя, и снова закрутила верньер настройки. И снова —  
они. Их власти разыгрывали шикарное неведение. Себастьян  
Неро — бизнесмен, конгрессмен, политикан, интриган, выдаю-  
щийся ученый — оказался выгодным козлом отпущения. Космо-  
летчики по сравнению с ним выглядели всего лишь мелкими  
козлятами. И все-таки фоны захлебывались, требуя для косми-  
ческих пиратов достойного конца: восстановить древний закон —  
и выбросить их в Пространство. Без суда и следствия, как ра-  
ботодовцев, захваченных на месте преступления.

Все эти сообщения Симона прослушала спокойно — в голове  
не укладывалось, что сейчас возможно так — «без суда и след-  
ствия». Промелькнуло коротенькое сообщение о том, что стюар-  
десса Паола Пинкстоун лишена права работать в системе Меж-  
дународной службы космоса. И это было не страшно — разу-  
меется, частные авиакомпании наперебой начнут приглашать  
Паолу работать стюардессой на каком-нибудь межконтиненталь-  
ном мобиле. Реклама!

Этого Симона переводить не стала — ведь она коротко, но  
довольно точно передала Митьке все, что произошло на стан-  
ции, и ему была известна роль Паолы.

Да Митька ее и не слушал. Сил не было. Он просто чуть пока-  
чивался, сидя на корточках над плоской коробочкой фона, оду-  
ревший от горя, непривычности собственных слез и бесконечной  
маеты холодного вечернего леса. Он вздрогнул, когда Симона  
схватила вдруг фон и поднесла к губам.

— Илья, — закричала она, — Илья, «Первая Козырева»,  
Илья! А, черт... — и она заговорила, быстро называя какие-то  
цифры и буквы — наверное, позывные; и фон замолчал и вдруг  
сказал немного удивленным мужским голосом:

— Ага, нашлась.

— Ну, что там, Илья? — спросила Симона и осторожно по-  
косилась на Митьку — не сказал бы Холяев чего лишнего.

— Да ты что, передач не слышала? — сердито спросил голос  
из коробки.

— Нет, — кротко сказала Симона, потому что действительно  
не могла бы сейчас повторить, о чем кричали американские  
дикторы за несколько минут до этого.

— Так вот, они не приземлились, — Холяев засопел. — Стар-

товали сразу за твоим грузовиком и уже несколько часов петляют по самым невероятным орбитам. Я имею в виду ракету, взявшую на борт троицу с «Бригантины»! — почти закричал Холяев.

— А экипаж этого «муравья»?.. — тихо спросила Симона.

— Американский.

Фон опять захлебнулся помехами, издали донеслось что-то похожее на «слушай...». Симона глянула на Митьку — как там он, можно ли еще слушать? И совсем рядом с собой увидела недоумение, расширенные вечерней темнотой глаза мальчика.

— О чем они? — с тихим отчаяньем проговорил Митька. — О чем они все?..

Спал палаточный городок Митькиного школьного лагеря. Спал и Митька в самой крайней, Симононой, палатке, с головой завернувшись в летнюю куртку, подбитую мехом россомахи. Под головой у Симоны попискивал переносный фон. Ракета с экипажем «Бригантины» все еще кружилась над Землей, и горластые представители американской общественности хорошо поставленными голосами зывали к пресловутой демократии, требуя удовлетворить «волю народов всего мира»: не допустить на Землю космических пиратов, поправших, опозоривших, предавших, опустившихся, докатившихся и т. д. и т. п. Короче говоря, слишком много знавших. Старинный прием. Раньше это проходило под девизом «убит при попытке к бегству». И чтобы избавиться от космолетчиков, приходилось разыгрывать роскошное представление по всем международным фонам под лозунгом «Свободный американский народ требует».

Симона выключила фон. И не верилось, и было противно. Митька прав, о чем они все, если погиб такой человек, как его мама? А они о чем угодно, только не об этом.

У нас не так. О гибели Ираиды Васильевны — случайной и совсем не героической — сообщили все фоностанции Советского Союза.

Говорили очень хорошо — без ненужных славословий, тепло, по-человечески. И все-таки Митьке не нужно было всего этого слушать. Потому и пришлось увести его в лес и ждать, пока хоть немного уляжется, приутихнет.

Да вот не утихало.

Симона вынула из-под головы руку — светящийся пяточок часов повис в темноте. Полночь. День, жуткий и нелепый, как пятый акт средневековой трагедии, миновал. Удивительно много влезло в этот проклятый день. И каждый раз, когда что-нибудь еще происходило, казалось — ну, это уж все. На сегодня хватит.

И снова захлебывался фон, сообщая о чем-нибудь страшном.

Вот и сейчас, всего за несколько минут до полночи, было передано сообщение о взрыве на подземном заводе. Правительственная комиссия, видите ли, отправилась выяснить, что там делали с венерианами. Кого за дураков считают? Совершенно очевидно, что, коль скоро командир «Бригантины» имел инструкцию взорвать корабль при опасности разоблачения, то уж и завод — самое пекло, туда и людей-то не допускали во избежание сентиментальных сцен, а все делалось киберами, — разумеется, такой завод не мог гостеприимно принимать любого ревизора.

Надо думать, что «правительственная комиссия» — мелкая

сошка из полупрогрессивных, безжалостно посланная на убой. Глухо ахнула цепь чудовищных взрывов — и никаких следов, и только мучительно стыдно за все человечество, хотя никогда не бывало так, чтобы виноваты были все. Но пройдут многие годы, прежде чем венериане станут людьми, и, когда они ими станут, они не сохранят имен виноватых, они скажут: это сделали люди Земли.

Мы очень много сделаем для них. Мы научим их быть такими, какими мы сами еще не вполне стали. Мы научим их быть справедливыми.

И все-таки — забудут ли они? Поймут ли все?

И кроме всех этих общих мыслей о всеземной вине и всевенерианской справедливости, подымалась нестерпимая жалость, даже не человеческая, а сугубо материнская, женская, которая возникает при мысли о гибели кого-то маленького и незащищенного.

И никакой жалости не было при воспоминании о тех, кто был повинен во всем этом. Так им и надо. Пятый акт, повинувшись классическому единству времени, места и действия, не упустил никого: мистер Неро, главный дежурный злодей, умер под одобрение публики; второстепенные злодеи-исполнители фактически обречены: в Пространство их, разумеется, не выкинут, но и в живых вряд ли оставят. Маленькая субретка, вольная или невольная их пособница, наказана пожизненным одиночеством. Справедливость торжествует. Занавес.

Над всем этим можно слегка поиронизировать.

Пока не застонет по-взрослому во сне Митька, свернувшийся клубочком под лохматой летной курткой.

Мы создали космические станции. Мы летаем на Венеру, Марс, и вообще к черту на рога и даже дальше. Как Николай. Да что там говорить — коммунизм построили. Пока, правда, он не на всей планете. Мы так многое смогли. Но что могу сделать я для этого мальчика? Взять на руки, и качать, и греть своим теплом. И все.

Симона шумно вздохнула, тяжело, как тюлениха, перевернулась на другой бок.

Проснулась она от шороха занудного осеннего дождя. Митька смотрел из-под куртки раскосыми маминими глазами.

— А вы ведь голодная, тетя Симона, — сказал мальчик, и Симона поняла, что за эту ночь все самое больное он запрятал так глубоко, что чужими руками уже не дотронешься.

— Ничего, — ответила она, — до завтрака дотерпим.

Верх наспех натянутой палатки захлопал — подымался ветер. Тучи провисли над самой землей, лопнули и стали расплзаться. В трещинах заалел рассвет. Митька вылез из палатки и подставил голые плечи последним каплям дождя.

Когда он вернулся, Симона сидела, положив подбородок на колени.

— Ракета приземлилась, — сказала она, — ракета приземлилась, и экипажа «Бригантины» на ней нет. Выбросили.

Митька бездумно пожал плечами: так им и надо. Симона тоже не сомневалась, что это по заслугам, в конце концов сами знали, на что шли. Не давало покоя другое, и Симона уже крутила фон, выжимая из него все возможное и невозможное.

— Диспетчер... — и снова цифры и буквы, скороговоркой, так что не разобрать. — Диспетчер... Шарль? Дай мне «Арамис». Я должна... Что? Я — это я. Ага. М-м. Давай «Арамис», тебе говорят!

«Арамис» посвистел, погукал и вдруг ответил мужским голосом. Это было так непривычно, что Симона даже головой помотала.

— Аду, — сказала она. — Аду Шлезингер.

Передача вдруг стала на редкость чистой, было даже слышно, как Ада, стуча каблуками, подходит к фону.

— Что с Пашкой? — закричала Симона, не дожидаясь, пока Ада отзовется первой.

— Улетела, — немного помолчав, спокойно проговорила Ада.

— Как?..

— Подвернулся попутный «муравей», и улетела. Она ведь у нас больше не работает.

— Ты с ума сошла! Неужели нельзя было ее задержать до моего прилета...

— Буду я такую удерживать! — красивым, чуть грациозным голосом звонко сказала Ада.

Симона выключила фон.

— Дура, — негромко проговорила она, — дура, смазливая кукла. Ты не знаешь, Митька, когда над вами пройдет транс-континентальный?

— В пять пятьдесят, кажется.

— Сбегай к щиту обслуживания, закажи спуск.

Митька сидел на краю взлетной, завернувшись в Симонину куртку и выставив коленки.

— А это обязательно — улетать сегодня? — неожиданно спросил он.

Симона на какой-то миг помедлила — что ответить; но Митькин взгляд был короток — он был даже короче протянутой руки, и под этим взглядом Симона снова подумала, как же легко с этим мальчишкой — только говори правду, одну только правду, чтобы потом и в воспоминании нельзя было бы отыскать ни одной крупинки лжи; и она ответила:

— Обязательно.

И вдруг почувствовала, как своим отлетом она отнимала у него последнюю крупинку реального существования его мамы.

И Митька это понял.

— Теть Симона, — сказал он, и голос его непрошено задрожал: — Но ведь могло же, могло быть все как-то по-другому?

— Да, — ответила Симона, — могло. Это был случайный удар. Нелепо так. Кажется, об угол регенератора.

— А разве мама была не у пульта?

— Нет, — сказала Симона, — она и Ада только успели вбежать.

Глупый, ох, какой глупый! Героическая смерть у пульта станции. А может, не стоит — что об угол регенератора, и прочий натурализм? Мальчишка все-таки, ему нужно сказать: «При исполнении служебных обязанностей, на своем посту...»

Митька вовсе лег на живот, ткнулся носом в траву и тихим, отчаянным голосом проговорил:

— Ну как же это, тетя Симона, что мамы нет? Что совсем-совсем ее нет? Ну что-то должно остаться?

Симона неслышно подвинулась ближе, но не стала ни трогать, ни гладить; она и сама толком не знала — что осталось; такое ведь только чувствуешь.

Мобиль запаздывал, и солнце вставало из-за края посадочной площадки, как из синего моря; огненный диск его был не поутреннему багров и неослепительен; полосы рваных туч, нависая над ним, придавливали его к земле, и, не зная времени, трудно было бы сказать, что это — восход или закат.

— «...и на том месте, где оно закатилось, — тихо прочитала Симона, — так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит еще недолгое время над потемневшей землей...»

— Спокойно? — Митька взвился на месте, лицо его совсем почернело.

Симона прикрыла глаза, представила себе сейчас Паолу... Или то, что осталось от Паолы. Нет, рано еще об этом говорить Митьке. Он по-звериному сверкнет глазами и снова скажет: «Так ей и надо».

Из-за леса вынырнул мобиль.

Симона тяжело поднялась.

— Симона... — сказал Митька и вдруг запнулся, потому что вдруг обнаружил, что не знает ее отчества. Но он упрямо мотнул головой и продолжал: — Возьмите меня с собой. На станцию. Я буду вместо этой... Пинкстоун. Были же юнги на кораблях. Вот и я... пока не пришлют замену — я буду как юнга. А? Теть Симона, вы возьмите меня.

Симона и так понимала, что он прав, и стиснула зубы, и сказала:

— Учись, дурак, вот тебе дело.

А Митька посмотрел на нее, как на чужую, и Симона поняла, что он сейчас вот так уйдет, и сказала:

— Вот они рядом — пять часов полета. А на станции и вообще бок о бок. А что они не живут, как люди? Что они не скинут всяких там лысых Неро? Завоевывать их территорию, насаждать силой свои порядки мы не станем, мы, братец, коммунисты. Ну можешь ты сказать, что бы ты сейчас стал делать? — Митька молчал. — Так вот ты учись. И думай-думай-думай. Может, и додумаешься.

Митька поковырял носком сандалии землю, сказал уже совсем тихо:

— Это вы все только говорите. А сами вы на моем месте — вот вы, что бы вы делали?

«Ну, это уже легко, — подумала Симона. — Как это легко — говорить с человеком».

— Я бы собрала ребят, выкрала ракету и перехватила этого «муравья» с американскими космолетчиками. Пусть они убийцы и работоторговцы, и все-таки их надо было судить. Вот так.

У Митьки загорелись глаза.

— Так, тетя Симона...

— Поздно, — сказала Симона. — Они же передали, что разговор приведен в исполнение.

Мобиль, тихонько ворча, подполз к ним и остановился в полтора метра. Казалось, еще немного, и он подтолкнет их своим носом: пора, мол.

Симона протянула руку:

— Салюд, человек.

Митька ничего не сказал, только пожал протянутую ладонь так, что даже Симоне стало больно.

Мобиль качнулся, когда Симона, пригнувшись, влезла внутрь, и резко взмыл вверх. И пока сквозь прозрачную стенку корабля были видны фигуры сидевших там людей, Митька отчетливо видел Симону — она была слишком большая, чтобы ее можно было с кем-нибудь спутать.



# ПУТЬ НА ВЕНЕРУ

## ПРОЛОЖЕН

Посланная в ноябре минувшего года к планете Венера советская автоматическая станция «Венера-3» 1 марта 1966 года в 9 часов 56 минут московского времени достигла планеты и доставила на ее поверхность вымпел с Гербом Союза Советских Социалистических Республик. Точная встреча была обеспечена успешной коррекцией траектории полета станции, проведенной 26 декабря 1965 года. Другая автоматическая станция, «Венера-2», полет которой не корректировался, прошла на заданном удалении от планеты только за счет точного выведения ее на межпланетную орбиту.

«Рекордом космической точности» называют новый успех советской науки и техники.

Эксперименты, выполненные с помощью автоматических станций «Венера-2» и «Венера-3», позволили решить ряд принципиальных задач межпланетных полетов и получить новые научные данные.

Они указали путь к таинственной планете, вечно закрытой густыми облаками.

Есть ли на ней жизнь? И если есть, то какие формы она принимает? Существуют ли на планете загадочные венериане, подобные или не схожие с теми, которых читатель только что встретил в повести О. Ларионовой, а до этого встречал во многих произведениях фантастов?

Об этом нам пока никто не скажет. Но путь на Венеру проложен. И мы уверены, что по этому пути отправятся новые советские космические корабли, которые установят связь с этой планетой для получения необходимой информации.

Первый  
РАССКАЗ



Рисунок Г. КОВАНОВА

# НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

**И**чего я уехал так далеко от дома? И зачем я только покинул благословенные и родные южные края? Там, дома, на юге, мои друзья пьют душистое и веселое молодое вино мажари или отправляются торжественно, как в заграничное плавание, из аллеи в аллею гулять, а навстречу им — пульсирующие, зеленые и голубые волны заката, смутный гул толпы и длинные взгляды девушек.

Там, на юге, сейчас середина медленной томительной осени, улицы стали прозрачней и чище, и базары ликуют, и тысячи тончайших стойких запахов не отпускают с базара...

Машина идет по лежневке, как по стиральной доске, ее сотрясает непрерывная дрожь, тело мое бессильно, как желе: я вторые сутки провожу в машине — мотаюсь с пикета на пикет по трассе, прорывающей оборону тайги.

А тайга буйствует и сопротивляется нам, не перестает устраивать неожиданные неприятности и жестокие сюрпризы, с молчаливым упорством старается сорвать все сроки работ, а сроки и без того торопят нас, задают стремительный темп и диктуют: скорость, скорость, скорость...

От Тэбука до Ухты протянулась моя дорога — мимо высоких сосен, через пылающий коридор короткой приполярной осени. И нет конца дороге, потому что я монтажник, мастер, строящий трассу.

Валька-шофер просит меня не спать, и я пою хриплым вибрирующим голосом песню без начала и конца.

Машина идет по колдобинам, стальные рессоры ее давно побиты нашей веселой дорогой, и я ношусь в просторной зилловской кабине, как гроб в гоголевской сказке, задевая по пути все углы, все выступы и скобы. Но я привык за полгода работы на трассе к такой езде.

В кузове громыхают баллоны с кислородом, которые трижды должны были взорваться от ударов и сотрясений, если верить инструкции по транспортировке, но почему-то до сих пор целы, а с ними целы и мы.

— Эх, — говорит сокрушенно Валька, — рази это жизнь, мамочки мои? Мают, просят: давай, Валя, давай! Не подведи, Валя! Не подкачай! А месяц к концу — ни пены, ни пузырей... А машина! Рази это машина? Хочеш ремонту — не дают ремонту! Все торопятя, куда-то все спешат. А я не могу. Почему-то у меня не врождено в жизни торопиться...

Машина влетает с размаху в яму, ревет яростно и выпрыгивает далеко вперед. На голове у меня вспыхивает малиновая шишка ватт под сорок.

— Пой, — просит Валька. — Пой, а то задремлю.

Нельзя, чтобы он задремал. Я пою.

Машина вырывается из цепких болотистых пространств.

Начинается ровная песчаная дорога: как на качелях — по холмам.

Машина идет в гору, и на стекло перед моими глазами ложится звездная карта мира. Я привычно, почти машинально, нахожу на ней тяжелый ковшик с погнувшейся ручкой и поднимаю глаза вверх — о, как высоко над моей головой Полярная звезда!

Машина идет все быстрее. Близится конец пути, конец сегодняшней дороги.

— Вона, — говорит Валька, — балок видать.

Из темноты вечера выплывает наш собачий домик на полюбых — балок. Он стоит косо на разъезженной обочине, из трубы заметно высекаются искры.

— Дома уже ребята. Уже пошабашили...

Я выпрыгиваю из кабины, пытаюсь размять задеревеневшее тело. Все посторонние мысли облетают с меня, как листва. Я поднимаюсь по ступенькам и открываю дверь.

Гонта сидит у раскаленной печурки усталый и грязный, сцепив на коленях громадные клешни кистей, ссутулившись. Остальные лежат на нарах.

— Как дела? — спрашиваю я с порога.

— Как сажа бела, — отвечает за всех Григорий Спасский, губастый парень из-под Тамбова, человек дерганый, дважды сидевший, но ребятами часто одобряемый. — Как в лесу... кругом дубы, и все шумят, — говорит он и громко хохочет.

— Курить есть? — угрюмо спрашивает Гонта.

Я протягиваю ему пачку кислого «Памира» местного производства. Все тянутся к Гонте, и в балке наступает минута блаженства.

— С утра не курили, — сварливо жалуется сварщик Говорков.

Я ни в чем не виноват, но я испытываю перед ними, перед этими ребятами, неясное чувство вины.

— Промокли до пупка, — добавляет Говорков, страдая от воспоминаний.

Опять я чувствую себя виновным. Не знаю почему.

— А сапоги? — спрашиваю я. — Сапоги болотные есть?

— Текут, — отвечает Спасский. — Текут, стервы.

— Ничего, — говорю я. — Вот сдадим трассу — отгуляете.

— Слыхали...

Они отвечают не по злобе, а от усталости, и я уже знаю это. Я знаю, как тяжело иногда приходится на трассе монтажникам, но никогда не променяют они свою кочевую жизнь — никогда и ни на что... Каждый день не похож на другой. И сколько хороших дней!

Спасский лежит прямо в брезентовых штанах на матраце, курит частыми затяжками и плюет после каждой затяжки на замызганную полосу пола.

Я сажусь рядом с Гонтой на дрова, на чьи-то подсыхающие портянки, и говорю тихо:

— Беда, Володя.

— Что там еще?

— Трубу у реки прорвало.

— Стык?

— Нет, по телу. Бракованная попалась.

Гонта молчит, глядя в огонь, а ребята прислушиваются к нашему разговору. Я понимаю — они устали, они уже сделали сегодня все, что могли, но на шестнадцатом пикете авария и послать туда некого, кроме них.

— Володя, — говорю я, — надо до утра сварить. Нефть уже на сорок пятом пикете, Володя.

Потрескивают дрова в печке, сосновые, легкие, гудит огонь, и труба на крыше легонько звенит, нагреваясь, как будто маленькие камешки бросают и бросают, метаясь в трубу. Тепло в балке, и тянет ко сну.

— Ну что ж, — говорит Гонта нехотя, — коли нужно... Поехать можно... Ты как? — спрашивает он сначала у Говоркова.

— Я что, — индифферентно отвечает тот. — Я — как все, так и я.

— А ты, Гришка?..

Мишу, четвертого человека, живущего в балке, он не спрашивает: Миша не в счет — молод.

— Нет слов, — тягучим юродствующим голосом отвечает Спасский. — Нет слов — одни отравленные чувства.

Я улыбаюсь, радуюсь тому, что так легко удалось бригаду уговорить, и усмехаюсь Спасскому в лицо, совсем уже не думая о его ответе.

— Сволочи! — вдруг кричит он нступленно и вмиг сооружает частокол из ругательств.

Все горькие и обидные слова кричит он неизвестно кому и зачем. Лицо его свернуто гримасой ярости и отчаяния. Он больше всех с непривычки терпит от бессонницы и работы.

— Спирту достань, Толик, — медленно говорит мне Гонта. — Заболеем без спирту. Осень ведь. Не выдержим, заболеем. Возьми у Старцева, он даст.

Я молча киваю. Знаю: они пойдут, они не могут не пойти. Вот уже Гонта потянулся за рукавицами, и Говорков натянул сапоги, которые только что проклинал. Вот уже Спасский медленно-медленно, ни на кого не глядя, надевает свою брезентовую, негнущуюся, так похожую на костюм водолаза робу газорезчика.

Я встаю и выхожу к машине. Нужно ехать к Старцеву, но я знаю твердо, что возвращаться мне придется с пустыми руками...

— Без спирту не приезжай! — несется мне вслед.

Валька спит в кабине коротким тревожным сном, положив голову на фуфайку. Он вздрагивает во сне, как лошадь, которую донимают оводы. Он постанывает во сне и бормочет. Мне жалко будить его.

Высокие ясные звезды поднялись над бесконечной тайгой.

— Вставай, — говорю я Вальке и трогаю его за сапог. — Вставай, дорогой граф. Ехать надо.

Валька молча поднимается и заводит мотор.

— Куда? — спрашивает он.

— На Вой-Вопс.

Валька вздыхает.

Дорога на Вой-Вопс длинна. Дорога на Вой-Вопс черна и бесконечна. Опять машина, как уют, идет во вперед, то назад, то вбок. Опять она проваливается с разбега в закрытые водой ямы, и я, как с катапульты, взлетаю к потолку.

— Были у нас шофера-москвичи! — кричит мне Валька. — Убегли все. У них дороги — первый класс. Привыкли к хорошей жизни.

— А у этих дорог?

— Что?

— Какой класс?

— А никакого. Бездорожье — вот какой класс.

За перевалочной мы крутим попеременно: на хороших участках — я, на плохих — Валька. Потом засыпаем, придушившись друг к другу, — отдыхаем, но это скорее просто подзарядка. Мы выключаемся, чтобы наши напряженные нервы расслабились, руки перестали дрожать, глаза закрываться.

За эти короткие минуты мне успевают присниться сон, в котором я, переговорив предварительно с кладовщиком, вступаю за дверь кабинета начальника конторы перекачки Николая Питиримовича Старцева. Он сидит в обетованной тиши кабинета; он стар, и скоро ему на пенсию; он добр, и этим все пользуются.

— Николай Питиримович, — говорю я, — у нас опять прорвало на шестнадцатом пикете. Трубы попались бракованные, Николай Питиримович.

Он чмокает губами и качает головой.

— Николай Питиримович, — говорю я, — помогите.

— Чем? — коротко спрашивает Старцев. Он привык к таким просьбам.

— Спиртом, — брякаю я и поднимаю глаза прямо к его глазам.

Старцев всплескивает руками, удивляясь, как малый ребенок, и отводит глаза.

— Ай, ай, ай! — восклицает он. — Да откуда у меня спирт? У меня спирт для компрессоров. На доньшке осталось. Пять всего литров.

— А если бы был, дали бы? — спрашиваю я и замираю в ожидании ответа.

— Конечно бы дал, хоть целый литр, — отвечает он, радуясь своей простой хитрости, но тут же жалеет о своих словах, потому что я говорю ему тихо:

— Позовите кладовщика.

— Зачем? — удивляется он притворно.

— Позовите, и он скажет вам, что спирта на складе есть тридцать литров.

Старцев зовет кладовщика. Тот входит и стоит, потупясь, но мне сейчас не жалко его, и мне не стыдно, хоть я и предал нашу дружбу.

— Николай Питиримович, — с отчаянием говорю я, — если вы не дадите мне обещанного, то я перебыю у вас стекла.

Он начинает вдруг хохотать, но лицо у него серьезное.

— Выдай ему! И больше никогда, понятно? Даже если я просить буду. Понятно?

— Понятно, — хмуро бросает кладовщик и, не глядя на меня, выходит, а Валька осторожно будит меня, и мы едем дальше в сером ртутном дыму рассвета.

Нет, я не пойду к Старцеву. И просить не буду — все равно не даст.

Но все-таки у веселого финского домика конторы я говорю Вальке:

— Тормози...

Ловко, у самого крыльца, он тормозит, а я сижу, и выходить мне не хочется. Сижу себе — и все.

Валька смотрит на меня:

— Ты что?

Я молчу. Я решаю. А решать-то и нечего. Все и так ясно.

Мы еще сидим в кабине, а на крыльце вдруг появляется Маруся Климova — незаменимый на трассе человек, наша курьерша и нормировщица.

— Привет, Толик! — кричит она. — Зайди-ка. Тут тебя посылочка дожидается!

Маруся смеется — залиvisto, от души, как будто увидела Олега Попова или Райкина, а не нас с Валькой.

Моя нерешительность уносится к серому осеннему небу вместе с остатками сна.

Я вываливаюсь из кабины и поднимаюсь на крыльцо.

— Старцев у себя? — спрашиваю по привычке.

— У себя, — отвечает Маруська. — Где ж ему быть? — и опять смеется залиvisto.

Мы входим в контору.

Маруська протягивает мне посылку.

— Держи, — говорит она, довольная, словно сама получила посылку. — Уже четыре дня дожидается. Тебе что, детали к трубоукладчику прислали?.. Ох, и тяжеленная!

Я ставлю посылку на стол. Маруська протягивает конторские ножницы.

Я разрезаю шпагат, сдираю мешковину, на которой Вой-Вопс соседствует с названием моего родного города, и нам открывается картонная коробка с надписью на боках: «масло... брутто... нетто...»

Мы троим — Валька, Маруська и я — смотрим на черную эту надпись.

Ко мне приходят опять обильные южные базары, и ноздри начинает щекотать тонкий запах полузабытой южной осени. Я блаженствую, на миг закрываю глаза, и миг этот торжествен, как посвящение в рыцари, как возвращение в родной город.

— Ну, что ж ты? — слышу я Марушкин голос.

— Яблочки сейчас есть будем... — нараспев тянет Валька.

А я не вернулся еще из своего родного города на Вой-Вопс, я почти машинально открываю крышку, и мне хочется закричать дурашливо, глядя на Вальку и Маруську, уставившихся на посылку: оттуда выглядывает лохматая спина — упругая, живая спина, покрытая длинной козлиной шерстью!

— Козел! — ахает Маруська.

— Вот тебе и яблочки... — озадаченно повторяет Валька и дотрагивается до спины, на которой лежит вдвое свернутый листок бумаги. — А может, шубу прислали? — добавляет он рассудительно.

И только я один уже знаю: никакой в ящике не зверь и никакая не шуба, а самый настоящий кавказский бурдюк.

Я разворачиваю листок: «Дружище, дорогой, твой день рождения — наш день рождения...»

Ох, трасса! Забыть свой день рождения! Ну и дела!

— Давай стакан, мажари сейчас пить будем, — говорю я Марушке торжественно, потому что вино требует торжественности. Без нее вино — разве вино?

Я наливаю стакан пенного душистого молодого вина, и мы по очереди пьем. Пьем сразу за все: за трассу, за нефть на сорок пятом пикете, за Николая Питиримовича, за ребят, которым приходится туго; пьем за дорогу — потому что нам пора возвращаться...

Через несколько минут наша машина выходит на трассу.

Я прижимаю под ватником к животу великолепный кавказский бурдюк, каких здесь, на Севере, и не видывали, а вино в бурдюке вздрагивает на ухабах, мягко толкает меня под ребра. В голове у меня слегка шумит и плывет от бессонной ночи, но в эти минуты я по-настоящему счастлив. Я опять вспоминаю своих ребят. Они умеют работать:

монтажники экстра-класс, настоящие парни. Гонта все делает как нужно — на него можно положиться. Наверное, уже залатали трубу, вернулись в балок и спят сейчас. Я ласково и нежно посматриваю вокруг и бережно сохраняю бурдюк.

— Давай, Валька, давай, — выкрикиваю я, — жми на всю железку!

— Жму, — весело отвечает Валька и скалит зубы.

Машина пляшет по темной дороге, и я прыгаю в ней вверх-вниз на манер парового молота. Я даже не упираюсь ногами в пол кабины. Мне очень весело сейчас, весело и празднично.

— А что, Валька, → кричу я, — убégли московские шофера из тайги?

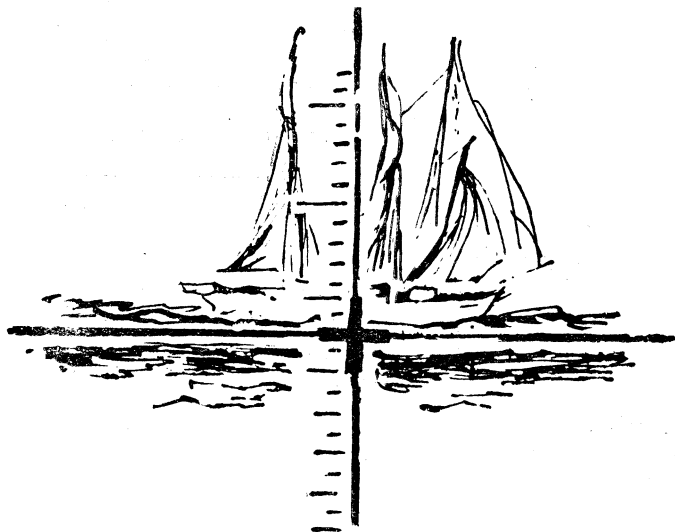
— Убégли, — хохочет он. — Все поголовно убégли. Один вот я остался.

Мы орем песни, а в руках я баюкаю настоящий кавказский бурдюк; и мне еще не больно и не грустно вспомнить обо всем случившемся. Просто я еду в машине, думаю о своих ребятах, о трассе. Впереди у меня такая прекрасная жизнь, что даже и не подумать иначе, и дорога моя не кончается, и много по ней еще предстоит пройти и проехать.





Рисунки П. ПАВЛИНОВА



Ю. ТАРСКИЙ

# ДУЭЛЬ

*Рассказ*

**Р**овная полоса горизонта вдруг изломалась, а солнце и реденькие облака, опрокидываясь, стремительно поползли из края в край окуляра. Перископ захлестнуло волной, и Елин, командир «Нерпы», словно окунувшись в мутную бутылочную зелень. Тяжело переступив с ноги на ногу, он разогнул затекшую спину и, не оборачиваясь, резко бросил:

— Боцман, не топи перископ! Точней держи глубину!

Боцман забубнил что-то в оправданье, но Елин не слушал. Стоял, блаженно вытянувшись, прижмурив слезящиеся глаза. Потом снова сгорбился и ткнулся лбом в резиновый наглазник окуляра.

На поверхности ничего не изменилось: и волны, и солнце с облаками были на положенном им месте, и эта треклятая шхуна маячила перед глазами, как и минуту и два часа назад.

— Не нравится мне этот парусник, старпом. Ох, не нравится! — тихо сказал Елин, но его услышали в самых дальних уголках центрального поста.

— А почему? Некрасив, что ли? — переглянувшись со штурманом, подал голос старпом Кретов. Он стоял за спиной рулевого-горизонтальщика и не сводил глаз с приникшего к перископу командира.

— Уж больно смел фашист — один посередке моря болтается. Над водой сидит высоко — значит, без груза. А почему? Куда идет, откуда, тоже не понять — похоже, без дела мыкается. И потом, эта антенна на мачте...

— Вы все же считаете?.. — начал старпом.

— Ничего я пока не считаю, — устало сказал Елин.

— А по мне, лайба как лайба — деревянное корыто с парусами.

— Угу, корыто, — подтвердил Елин. Неожиданно он поднял голову и в упор спросил: — Ну, что у вас еще? Выкладывайте.

— Ничего, — отчеканил по слогам старпом. — Все ясно.

— Я так и думал, — процедил сквозь зубы командир и строго приказал: — Гидроакустику усилить наблюдение!

На секунду подняв голову от перископа, он снова приник к окуляру. Дважды щелкнула рукоятка дальномерного устройства, и Елин по-прежнему раздраженно объявил:

— Дистанция до шхуны семь с половиной кабельтовых. Пеленг...

Было отчего злиться. Вот уже третий час подводная лодка, словно привязанная, тащилась за этим дурацким парусником. Куда он, туда и она: он шел вправо — «Нерпа» тотчасворачокала вправо, он поворачивал влево — она за ним.

А чего бы, кажется, проще: ударить из-под воды торпедой — и дело с концом! Да ведь жаль торпеду. Мало их к концу похода осталось, на более важную цель содаться. Всплыть и после опроса потопить артиллерией? Как говорится, и дешево и сердито. Тем более и старпом со штурманом давно это советуют... «Нет, погожу еще малость», — в который уже раз за эти часы одернул он себя.

Подозрительна ему шхуна, а чем — сам толком не знает. Многим. Слишком франтовата для парусника-работяги. Опять же идет непонятными курсами. И антенна на мачте...

Наслышан он о хитрых судах-ловушках, да и читал о них немало. И немцы и англичане широко применяли их еще в первую мировую войну. Плывет себе по морю эдакое безобидное с виду суденышко, а чуть подлодка противника высунет нос, откуда и пушки, и пулеметы, и глубинные бомбы возьмутся. Огонь, гром, треск — и нет доверчивой субмарины: одни пузыри и масляные пятна на волнах...

Елин скомандовал рулевому новый курс и направил «Нерпу» вразрез движению парусника. Приблизившись к шхуне, подводная лодка обошла ее с левого борта, потом немного отстала и, догоняя, снова перешла на правый борт.

«А это что за надстроечка под фок-мачтой? Не пушки ли там? — недоверчиво разглядывал шхуну Елин. — Да нет, какие там пушки! — возразил сам себе. — Обычные тамбуры.

И команда как команда: одеты кто во что горазд — кто в черном, кто в белом, а один и вовсе в тельнике и закатанных до колен штанах... И по судну слоняются, как не бывает на военных кораблях». В перископ хорошо видно: двое матросов и толстяк в шапке-финке, наверное боцман, взялся у якорной лебедки на баке, еще двое метут палубу швабрами, а на мостике капитан с биноклем на шее перевесился через поручень и грозит кому-то кулаком.

Расходовать торпеду на парусник Елину было жалко — не стоил он ее, всплыть опасался — вдруг и в самом деле ловушка, и пропустить шхуну был не в силах: не мог он выпустить просто так, за здорово живешь, судно, на флаге которого раскорячилась фашистская свастика. Вот и злился Елин и дергал без дела и себя и команду.

Гидроакустик доложил:

— Море и горизонт чисты. Слышу только шумы парусника. Похоже, помпа качает воду.

И тогда Елин решил. Скомандовал:

— Комендорам в центральный пост! Боцман, всплывай!

Море еще омывало палубу, бурлило в надстройке, выливаясь через шпигаты, а Елин, старпом Кретов и комендоры уже выскакивали через рубочный люк на мостик.

На паруснике заметили всплывшую подводную лодку. Поднялась суeta. На мачтах прибавилось парусов. Шхуна резко повернула и, кренясь на один борт, понеслась прочь от «Нерпы».

Взобравшись на верхнюю площадку перископа, сигнальщик замахал флажками, вызывая парусник по международному своду сигналов. Под диктовку Елина он передал: «Лечь в дрейф! Команде немедленно оставить судно. Через пять минут открываю огонь!»

Снизу из люка высунул голову штурман. Лицо у него было багровое. Задыхаясь от быстрого бега, он доложил:

— Товарищ командир, парусник радирует открытым текстом по-немецки. Пишет: «Всем! Всем! Атакован красной подлодкой! На помощь!..»

Елин поднял бинокль к глазам и долго рассматривал шхуну. На сигналы она не отзывалась, палуба ее опустела, и на мостике никого не было видно.

— Вот подонки, ослепли они и оглохли, что ли! — выругался в сердцах Елин и приказал старпому: — Открыть огонь!

Отрывисто громыхнул первый выстрел. Это ударила носовая пушка. Елин изменил курс лодки так, чтобы могли стрелять оба ее орудия. К шхуне, однако, близко не подходил — все еще опасался подвоха.

Первые залпы легли с перелетом, следующие поднялись сразу за шхуну.

— Меньше два!.. Беглый огонь! — корректировал стрельбу Кретов.

Море перед парусником вспучилось, выбросило на высоту его мачт медленно опадающие фонтаны. Шхуна завилела в одну, в другую сторону. Позади ее мостика блеснуло несколько ярких вспышек и густо повалил ядовито-черный дым.

Паруса на мачтах вдруг опали, и шхуна, пройдя какое-то расстояние по инерции, остановилась. Волны и ветер разворачивали ее бортом к подводной лодке. Стало видно пламя, охватившее надстройку за грот-мачтой. В густом дыму беспорядочно метались люди. По фок-мачте парусника поползли пестрые флаги.

— Что они? — спросил Елин у сигнальщика. Тот поспешно листал страницы международного свода сигналов.

— Застопорили ход. Просят разрешения спустить шлюпки и покинуть судно.

— Давно бы так, а то фокусничают, макарки, — удовлетворенно пробурчал Елин и приказал прекратить огонь.

— Отставить стрельбу! Орудия продолжать наводить! — недовольным голосом отозвался старший помощник.

«Нерпа» медленно приближалась к лежащему в дрейфе паруснику. Его шлюпки были уже на воде, и в них прыгали обезумевшие от страха люди. Возле штурм-трапа, размахивая коротенькими ручками, суется толстяк в шапке-финке. Длинноногий капитан с пузатым портфелем под мышкой и забытым на шее биноклем торопливо спускался с мостика. Переполненные шлюпки одна за другой отходили от борта шхуны. Матросы гребли вразброд, выбивая веслами каскады брызг, и шлюпки вертелись на месте. По палубе парусника от борта к борту с лаем метался брошенный командой большой черный пес.

Елин поднял руку — сейчас командует открыть огонь по обезлюдевшей шхуне. Но из люка раздался громкий крик штурмана:

— Ловушка! На паруснике люди. Они переговариваются по гидроакустике с подводной лодкой. Слышим ее шумы. Лодка быстро приближается!

— Всем вниз! Срочное погружение! — бешено выкрикнул Елин.

Бухая сапогами по металлической палубе, мимо него в рубочному люку пронеслись комендоры. Следом за ними в люк прыгнул и Елин. В последний миг каким-то боковым зрением он успел заметить крутящийся смерчем столб воды рядом с лодкой. Это открыл огонь «обезлюдевший» парусник.

«Так вот в чем хитрость! Работают в паре: шхуна — приманка, подводная лодка — крючок».

Резко наклонив нос, «Нерпа» стремительно проваливалась в глубину. Гидроакустик непрерывно докладывал о фашистской подводной лодке. Она была где-то близко, над «Нерпой». Несколько раз в отсеках то возникал, то вновь пропал свистящий металлический гул — это рассекали воду ее вращающиеся гребные винты.

Елин прошел в рубку гидроакустика и надел вторые наушники. Шумы винтов той подлодки слышались очень отчетливо. Потеряв «Нерпу», она рыскала в глубине, чтобы смертельно ударить.

Елин приказал выключить все механизмы и приборы, кроме гидрокомпы, запретил разговоры и передвижения по лодке. Все замерли. Враз наступила та редкая на корабле тишина, когда неожиданно проявляются обычно неслышные зву-

ки: шелест воды, обтекающей борта лодки, гул моторов, работающих где-то в дальних отсеках, какое-то звонкое тиканье, в котором вдруг узнаешь удары собственного сердца.

«Теперь все зависит от выдержки. У кого сдадут нервы, тому и на морском дне вековать», — сказал себе Елин.

Лицо его напряженно, по щекам стекают ручьи пота. Он не вытирает лицо, боится отвлечься, пропустить малейшее изменение в обстановке. Знает — это смерти подобно. А обстановка меняется непрерывно и с невероятной быстротой. Только что фашист был справа, а вот он уже переходит на левый борт, потом ползет на корму «Нерпы», и ноющий гул его моторов ввинчивается буравами в уши. Гидроакустик с трудом поспевает докладывать направления на вражескую лодку.

Стопорит моторы фашист, чтобы прислушаться, — стопорит и свои двигатели Елин. Дает ход противник — и тут же начинает двигаться «Нерпа», не опережая, но и не отставая ни на секунду. Так и крутятся они, фашистская субмарина и «Нерпа», друг возле дружки где-то под ловушкой-парусником.

У «Нерпы» преимущество — фашисты плохо соблюдают тишину, и Елин старается это использовать. Он слышит их почти все время, они его — навряд ли.

Вот в наушниках тихо затарахтело, будто балуются пальцами по зубьям гребенки. Гидроакустик порывается объяснить, но Елин машет рукой: без объяснения ясно — работают горизонтальные рули на гитлеровской подлодке. А вот отрывистое шипенье, всего-то секунду его и слышно, но Елин успевает определить место противника. Нет, недаром он проторчал столько часов в учебном гидроакустическом классе перед этим походом. Вот она, плата за потраченное время.

Гидроакустик предостерегающе поднимает руку.

— Идет прямо на нас! Быстро приближается...

Елин затаивает дыхание. Напрягшийся до предела слух улавливает едва различимый шорох. Он почти теряется на фоне других звуков. Елин приказывает застопорить электромоторы, и шум в наушниках становится слышен еще отчетливее. К нему примешивается глухое постукивание, будто тикают приложенные к уху часы.

Елин представляет себе неприятельскую лодку с нацеленными в «Нерпу» торпедами, и его словно обдаёт ледяным ветром. Боясь выдать невольную дрожь, он стискивает пальцы в кулаки и поспешно прячет руки в карманы.

А шорох уже рядом. Бьет, грохочет в уши, заслоняя все звуки. Громкий отрывистый щелчок и пронзительное шипенье заставляют вздрогнуть.

— Торпеда! — сдавленным шепотом хрипит рядом гидроакустик.

Елин командует:

— Лево на борт! Самый полный ход!

Сверля барабанные перепонки, возникает, в мгновение усиливается до рева и тут же затихает, быстро удаляясь, скрежещущий свист. Снова щелчки, один за другим, почти

без пауз. И снова рассекающий свист и шипенье. Эти торпеды — их три — мчатся вдоль борта рядом с «Нерпой».

Поворот длится дьявольски долго. Кажется, ему не будет конца, и вражеские торпеды вот сейчас, через миг, ударят в подставленный им борт «Нерпы». Картушка компаса — ее хорошо видно Елину — никак не остановится, все вертится и вертится. В ушах уже не шипение и свист, а вой и грохот.

Рулевой докладывает:

— Поворот закончен! На румбе...

И следом за ним торжествующий крик гидроакустика:

— Торпеды проходят стороной! Мимо!...

Стуки и гул в наушниках постепенно затихают. Слышно, как звонко разбиваются о палубу капли. Они падают с отсыревшего подволока.

Елин некоторое время сидит не шевелясь, сжав кулаки в карманах кожанки. Потом распрямляет плечи и выглядывает в центральный пост через открытую дверь рубки. Со всех сторон к нему обращены лихорадочно горящие глаза. В них один немой вопрос: «Когда же конец этому испытанию? Как ты поступишь дальше, командир?..»

Подходит старпом. Нерешительно спрашивает:

— Может, врезать ему торпедой?

Елин отрицательно качает головой:

— У нас осталось их две. Сами знаете, как стрелять по звуку. Ошибемся — уйдут фашисты. Главное сейчас — перехитрить их, заставить поверить, что мы ушли из района. А поверят — им крышка.

В глазах Кретьова вопрос.

— Терпение, выдержка и маскировка — вот наши козыри. Мы должны ударить наверх... Все, старпом, идите, — твердо говорит Елин и протягивает руку к наушникам.

Проходит несколько тревожных минут, и все повторяется сначала. Гидроакустик, надуленный, с перечеркнувшей лоб синей вздувшейся веной, поворачивает к командиру меловое лицо.

— Возвращается... Слышу ее по пеленгу сорок...

Но Елин уже и сам вылавливает среди шумов в наушниках знакомый ноющий гул чужих двигателей. Отрывисто кидает в центральный пост:

— Стоп погружаться! Прямо руль!

Главное — успеть уйти с курса фашистской субмарины до зала.

— Глубина тридцать метров!.. Руль прямо!.. Моторы застопорены! — разноголосым эхом доносятся доклады старшин из отсека.

— Боцман, погружайся! Лево на борт! — кричит Елин.

Как сорванный ветром тяжелый осенний лист, лодка бесшумно падает в глубину. Шумы в наушниках стремительно нарастают. Гул моторов и рокот винтов вражеской лодки уже отчетливо слышны и в отсеках. Елин поднимает руку, командует:

— Стоп погружаться! Прямо руль!

Фашистская лодка пронесится на большой скорости где-то над «Нерпой». Все взоры обращены к подволоку, головы невольно вжимаются в плечи. Ощущение такое, будто сидишь под настилем гулкого железнодорожного моста, а над твоей головой мчится курьерский поезд.

Шумы постепенно затихают вдаль, но, не успев совсем пропасть, снова усиливаются.

«Вот попался настыра фриц! Видимо, опытный, собака!» — с ненавистью думает Елин. Мгновение он видит его, узколицего, с тонкогубым ртом, будто прорезанным бритвой, и белыми от ярости глазами.

— Ничего, мы еще посчитаемся... Посчитаемся, фриц! — одними губами шепчет Елин и еще теснее прижимает к ушам ладонями эбонитовые чашки наушников.

Тон гула, приближаясь, заметно изменяется. К вою моторов чужой подводной лодки присоединяются новые звуки — тонкое с присвистом сопенье. «Что бы это могло быть?» — пронесится в мозгу Елина. И тут же приходит отгадка: «Лодка погружается. Видимо, считает, что мы на большей, чем она, глубине...» Мысль еще не успевает окончательно оформиться в сознании, а Елин уже командует в центральный пост:

— Точней держать глубину! Стоп электромоторы!.. Малый ход!..

«Нерпа» плавными толчками продвигается вперед. В эти минуты Елин чувствует подводную лодку, как никогда. Они словно срослись и стали единым организмом, человек и корабль. Послушная воле командира и умелым руками рулевого, подводная лодка плавно поворачивает то вправо, то влево, не давая противнику определить ее место и точно прицелиться.

Где-то внизу, глубоко под «Нерпой», с рассекающим свистом проносятся выпущенные врагом торпеды.

— Вот и еще три — в белый свет, как в копейку, — доносится до Елина голос трюмного машиниста.

— А всего уже шесть, — тут же откликается штурманский электрик. — Две он вначале выстрелил, потом еще одну и вот эти три...

«Не шесть, а семь, — мысленно опровергает Елин. — Значит, в аппаратах у него осталась одна торпеда. Перезарядить торпедные аппараты он не успеет да и не сможет, маневрируя с такими большими дифферентами...»

Словно в подтверждение его мыслей, старпом объясняет штурману:

— А ведь у фрица боезапас ты-тю. Недолго ему гарцевать...

Выпустив торпеды, вражеская подводная лодка куда-то исчезает. Ни с поверхности моря, ни из его глубины не доносится ни звука. В наушниках слышатся обычные шорохи, пошвысты, потрескивания.

«Не выдержал фашист. Ушел! — радостно решает Елин и тут же возражает себе: — А если не ушел? Если притаился и ожидает своей минуты, чтобы ударить наверняка?.. Но ведь пока я медлю, он может перезарядить тор-

педные аппараты...» Спор с самим собой длится долго. Большим усилием воли Елин заставляет себя отказаться от соблазна всплыть на поверхность. «Не мог он уйти. Дождусь», — непреклонно решает он.

Время словно остановилось. Минуты тянутся часами. В крохотной рубке гидроакустика, до предела заполненной приборами, жарко и нестерпимо душно. От усталости и терпкого запаха нагретой масляной краски кружится голова и клонит ко сну. Тело наливается свинцом, и лень даже разогнуть одеревеневшую спину. Глаза застилает белесый туман, в котором все плывет и раскачивается.

Чтобы совсем не заснуть, Елин заставляет себя думать о делах, которые нужно решить с приходом в базу, о молодых рулевых и электриках, еще не сдавших экзамены по устройству подводной лодки, о коке, медлительном и неустойчивом парне, на которого жалуются матросы. Мысли, нестройные, обрывочные, скользят, не задерживаясь в сознании...

И вдруг, как удар электрического тока, — громкий рокочущий гул. Он совсем близко. Рядом. Теперь Елин отличит его от тысячи других звуков. Он встречается взглядом с глазами гидроакустика. В них нет страха — только непреклонная решимость.

Гул моторов субмарины наплывает с угрожающей быстротой. Судя по всему, она на одной глубине с «Нерпой».

Елин приказывает заполнить цистерну быстрого погружения, и «Нерпа» камнем летит ко дну. Стрелка глубиномера мчится по кругу циферблата, стремительно перескакивая с деления на деление.

«Быстрее!.. Ну, быстрее же!» — стиснув зубы, мысленно подгоняет ее Елин. Мозг пронзает грохот, накатывающийся падающей с гор лавиной. Кажется, он заполняет весь отсек, всю лодку, все море... Это торпеда! Изменять глубину или поворачивать уже поздно, этого не сделать в оставшиеся секунды. Грохот длится вечно, но прежде, чем он достигает своей высшей точки, Елину становится ясно: смерть пройдет мимо.

— Торпеда над нами! — кричат в центральном посту.

И снова в рубку входит тишина. В сдавивших голову наушниках все те же глухие посвисты, шорохи и скрипы. А затем неуверенный голос гидроакустика:

— Она всплывает, товарищ командир!.. Всплывает!

В наушниках у Елина громко булькает и шипит.

— Продувает цистерны, — подсказывает матрос.

«Ишь, осмелел! Значит, уверен, что нас уже нет в квадрате», — со злорадством решает Елин.

Он стаскивает с головы ненужные уже наушники и бросается в центральный пост. Взгляды всех прикованы к его лицу.

— Всплывать, — приказывает Елин и, нагнувшись, отбрасывает крышку шахты перископа.

На поверхности уже смеркается. Вражеская подлодка — Елину отлично виден в перископ ее черный, вытянувшийся

на воде силуэт — покачивается на пологой зыби рядом со шхуной. Фашисты переговариваются: ярко вспыхивают огни их сигнальных фонарей.

«Обо мне небось судачат. Жалеют, что упустили», — подумал мельком Елин. Не отрывая глаз от окуляра, спросил:

— Как аппараты?

— Готовы торпедные аппараты! — живо откликнулся старший помощник.

— Лево руля! Аппараты... товсь!

«Спокойней!.. Спокойней, Андрей!» — приказывает себе Елин.

Нос «Нерпы» медленно наползает на силуэт гитлеровской субмарины, и, когда ее мостик перечеркивает крест прицела, Елин очень спокойно командует:

— Пли!..

Для шхуны-ловушки он тоже не пожалел торпеды. Разорванная взрывом на две половины, она затонула почти мгновенно.




Рисунки В. КОВЫНЕВА



РЭЙ БРЭДБЕРИ

# НЕВИДИМЫЙ МАЛЬЧИК

*Фантастический рассказ*

 на взяла большую железную ложку и высушенную лягушку, стукнула по мумии так, что та обратилась в прах, и принялась бормотать над порошком, быстро растирая его своими жесткими руками. Серые птичьи бусинки глаз то и дело поглядывали в сторону лачуги. И каждый раз голова в низеньком узком окошке ныряла, точно в нее летел заряд дроби.

— Чарли! — крикнула Старуха. — Давай выходи! Я делаю змеяный талисман, он отомкнет этот ржавый замок! Выходи сей момент, коли не хочешь, чтобы я заставила землю трястись, а деревья гореть ярким пламенем, не хочешь, чтобы солнце село средь белого дня!

Ни звука в ответ, только теплый солнечный свет на высоких, пахнущих скипидаром стволах, только пушистая белка, щелкая, кружится, скачет на позеленевшем бревне, только муравьи тонкой коричневой струйкой наступают на босые, с синими жилами ноги Старухи.

— Ведь уже два дня не евши сидишь, чтоб тебя! — выдохнула она, стуча ложкой по плоскому камню, так что набитый битком серый колдовской мешочек у нее на поясе закачался взад и вперед.

Вся в поту, она всгала и направилась напрямик к лачуге, зажав в горсти порошок из лягушки.

— Ну, выходи! — Она швырнула в замочную скважину щепоть порошка. — Ах, так! — прошипела она. — Хорошо же, я сама войду!

Она повернула дверную ручку пальцами цвета грецкого ореха сперва в одну, потом в другую сторону.

— Господи, о господи, — воззвала она, — распахни эту дверь настезь!

Но дверь не распахнулась; тогда она кинула еще чуток волшебного порошка и затаила дыхание. Длинная грязная синяя юбка зашуршала, когда Старуха уставилась во мрак мешочка, проверяя, нет ли там еще какой чешуйчатой твари, какого-нибудь средства посильнее этой лягушки, которую она задавила много месяцев тому назад как раз для такой вот okazji.

Она слышала, как Чарли дышит на дверь. Его родители в начале недели подались в какой-то городишко в Озаркских горах, оставив мальчонку дома одного, и он, страшась одиночества, пробежал почти шесть миль до лачуги Старухи — она приходилась ему не то теткой, не то двоюродной бабкой или еще кем-то, а что до ее причуд, так он на них не обращал внимания.

Но два дня тому назад Старуха обнаружила, что привыкла к мальчишке, и решила совсем оставить его у себя для компании. Она уколола иглой свое тощее плечо, выдавила три бусинки крови, плюнула через правый локоть и раздавила ногой сверчка, указывая когтистой лапой на Чарли и крича:

— Мой сын ты, мой сын отныне и навеки!

Чарли вскочил, будто испуганный заяц, и ринулся в кусты, метя домой.

Но старуха юркнула следом быстро, как полосатая ящерица, и перехватила его. Тогда он заперся в ее лачуге и не хотел выходить, сколько она ни барабанила в дверь или окно своим янтарным кулаком, сколько ни врожала над огнем и ни твердила, что теперь он ее сын, больше ничей — и делу конец.

— Чарли, ты *здесь*? — спросила она, пронизывая доски ясными скользкими глазками.

— Здесь, здесь, где же еще? — ответил он, наконец, усталым-усталым голосом.

Еще немного, еще чуть-чуть — и он свалится сюда на приступку. Старуха подергала ручку. Ну! Уж не перестаралась ли она — швырнула в скважину лишнюю щепоть, и замок заело. «Всегда-то я, как ворожу, либо лишку дам, либо не дотяну, — сердито подумала она, — никогда в *самый раз* не угадаю, черт бы его побрал!»

— Чарли, мне бы только было с кем поболтать вечерами, вместе у костра руки греть. Чтобы было кому утром хворосту принести, отгонять блуждающие огоньки, что подкрадываются

в вечерней мгле! Не бойсь, сынок, никакой тут каверзы нет, но ведь невмоготу одной-то. — Она почмокала губами. — Чарли, слышь, выходи, я тебя *такому* научу!

— Чему хоть? — недоверчиво спросил он.

— Научу, как дешево покупать и дорого продавать. Слови ласку, отрежь ей голову и сунь в задний карман, пока не остыла! И все!

— А! — презрительно ответил Чарли.

Она заторопилась.

— Я тебя средству от пули научу. Коли в тебя кто стрельнет из ружья, а тебе хоть что.

Чарли молчал. Тогда она свистящим прерывистым шепотом открыла ему тайну:

— В пятницу, в полнолуние накопай мышинного корня, свяжи пучок и носи на шее в мешочке белого шелка.

— Ты рехнулась, — сказал Чарли.

— Я научу тебя заговаривать кровь, пригвождать к месту зверя, делать слепых коней зрячими — всему научу! Научу, как лечить корову, если она дурной травы объелась, как выгнать беса из козы. Хочешь, покажу, как делаться невидимкой!

— О! — воскликнул Чарли.

Сердце Старухи заколотилось, словно барабан солдата Армии спасения.

Ручка двери повернулась, нажатая изнутри.

— Ты разыгрываешь меня, — сказал Чарли.

— Что ты, нет! — заверила Старуха. — Слышь, Чарли, я так сделаю, ты будешь словно окно, сквозь тебя все будет видно. То-то ахнешь, сынок!

— Совсем невидимым?

— Совсем, совсем!

— А ты не схватишь меня, как я выйду?

— Я тебя пальцем не трону, сынок.

— Тогда, — нерешительно сказал он, — ладно.

Дверь отворилась. На пороге стоял Чарли, босой, понурый, голова опущена на грудь.

— Ну, делай меня невидимым.

— Сперва надо поймать летучую мышь, — ответила Старуха. — Давай ищи!

Она дала ему немного сушеного мяса заморить червячка, потом стала смотреть, как он карабкается на дерево. Выше, выше... Как хорошо на душе оттого, что он там карабкается, как славно, что он здесь, рядом, после многих лет одиночества, когда некому даже «доброе утро» сказать, кроме птичьего помета да серебристого улиткина следа...

Вот с дерева падает летучая мышь со сломанным крылом, Старуха схватила ее — теплую, трепещущую, свистящую сквозь фарфорово-белые зубы, а Чарли уже лез вниз, перехватывая руками, ликующе гикая.

\* \* \*

В ту же ночь, в час, когда луна принялась обкусывать пряные сосновые шишки, Старуха извлекла из складок своего просторного синего платья длинную серебряную иголку. Твердя

про себя: «Хоть бы сбылось, хоть бы сбылось», — она тщателью прицелилась в мертвую летучую мышь, крепко-крепко сжимая холодную иглу.

Она уже давно привыкла к тому, что, несмотря на все ее потуги, всяческие соли и серные пары, ворожба не удастся. Но как расстаться с мечтой, что в один прекрасный день начнутся чудеса, фейерверк чудес, алые цветы и серебряные звезды в доказательство того, что господь простил ее розовое тело и розовые грезы, ее пылкое тело и пылкие мысли в пору девичества. Увы, до сих пор бог не явил ей никакого знамения, не сказал ни слова, но об этом, кроме Старухи, никто не знал.

— Готов? — спросила она Чарли, который сел, съездившись, сложив ноги накрест — тонкие икры оплетены длинными, с гушиной кожей руками, рот широко открыт, зубы блестят...

— Готов, — с содроганием прошептал он.

— Раз! — Она глубоко вонзила иглу в правый глаз мыши. — Так!

— О! — крикнул Чарли, пряча лицо в руках.

— Теперь я заворачиваю ее в полосатую тряпицу — вот так, а теперь клади ее в карман и носи там вместе с тряпичей. Ну!

Он сунул в карман амулет.

— Чарли! — испуганно вскричала она. — Чарли, где ты? Я тебя *не вижу*, сынок!

— Здесь! — Он подпрыгнул так, что свет красными бликами заметался по его телу. — Здесь я, Бабка!

Он лихорадочно разглядывал свои руки, ноги, грудь, пальцы.

— Я здесь!

У нее были такие глаза, словно она смотрела на полчища светлячков, спящих взад-вперед в пьянящем ночном воздухе.

— Чарли! Надо же, так быстро *пропал!* Точно колибри! Чарли, вернись, *вернись* ко мне!

— Да ведь я здесь! — всхлипнул он.

— Где?

— Возле костра, возле костра! И... и я себя вижу. Вовсе я не невидимый!

Старуха качала своими тощими бедрами.

— Конечно, *ты видишь себя!* Все невидимки видят себя. А то как бы они ели, гуляли, ходили куда-нибудь? Тронь меня, Чарли. Тронь, чтобы я *знала*, где ты.

Он нерешительно протянул к ней руку.

Она нарочно вздрогнула, точно испугалась, когда он коснулся ее.

— *Ой!*

— Нет, ты и впрямь *не видишь* меня? — спросил он. — Правда?

— Ничего не вижу, хоть бы один волосок!

Она отыскала взглядом дерево и уставилась на него блестящими глазами, остерегаясь глядеть на мальчика.

— А ведь *получилось*, и как *получилось!* — Она восхищенно вздохнула. — Ух ты! *Никогда еще* я так быстро не делала невидимок! Чарли, Чарли, как ты себя *чувствуешь?*

— Точно вода в ручье, когда ее взбаламутишь.

— Ничего, мать осядет.

Погодя она добавила:

— Что же ты, Чарли, будешь делать теперь, когда стал невидимым?

Она буквально видела, как в его голове пронесется тысяча мыслей. Приключения, рождаясь, плясали чертиками в его глазах, и широко раскрытый рот отчетливо говорил, что значит быть мальчишкой, который воображает себя подобным горному ветерку. Он заговорил, грезя наяву:

— Я стану бегать по пшенице, по полям, буду лазать на снежные горы, красть у фермеров белых кур. Буду щипать красивых девчонок, как уснут, дергать их за подвязки в классе.

Чарли глянул на Старуху, и уголком глаза она увидела, как по его лицу скользнуло что-то скверное, злое.

— И еще много кой-чего буду делать, уж я придумаю, — сказал он.

— Только не вздумай мне козни строить, — предупредила Старуха. — Я хрупкая, словно весенний лед, со мной грубо нельзя. — Она добавила: — А как насчет твоих родителей?

— Родителей?

— Не можешь же ты таким домой отправляться. Ты ж их насмерть перепугаешь! Мать так и шлепнется в обморок, будто срубленное дерево. Думаешь, ей очень надо на каждом шагу спотыкаться о тебя и поминутно звать — а ты у нее под носом!

Об этом Чарли не подумал. Он вроде чуток поостыл и даже шепнул: «Господи!» — после чего осторожно пощупал свои длинные ноги.

— Ты совсем одиноким очутишься. Люди будут смотреть прямо сквозь тебя, как сквозь стакан воды, толкать, пихать на каждом шагу — ведь тебя же не видно. А девчонки, Чарли, *девчонки...*

Он глотнул.

— Ну, что с ними будет?

— Ни одна из них и глядеть на тебя не захочет. Думаешь, им приятно, чтобы их целовал парень, у которого и губ-то *не видать!*

Чарли озабоченно ковырял землю пальцами босой ноги. Он надул губы.

— Все равно останусь невидимым, хоть немного. Уж я позабавляюсь! Ничего, я буду осторожным. Буду следить, чтобы не оказываться на пути у коней, у телег и отца. Отец, как услышит звук, тут же стреляет. — Чарли моргнул. — Ведь раз я невидимый, отец может мне добрый заряд дроби всадить, а что — подумает, белка на двор пришла, и саданет! Вот как. Старуха кивнула дереву.

— Очень даже просто.

— Ладно, — рассудил он, — сегодня вечером я буду невидимкой, а завтра утром ты меня по-старому сделаешь, решено?

— Вот и видно, что ты пустой человек, хочешь быть тем, кем не можешь стать, — сказала Старуха жуку, ползущему по бревну.

— Это почему же? — спросил Чарли.

— А вот почему, — объяснила она, — не так-то это просто было сделать тебя невидимкой. И теперь надо время, чтобы с тебя сошла невидимость. Так же как надо время, чтобы краска сошла.

— Это ты! — вскричал он. — Ты все затеяла! И давай теперь ворожи обратно, чтоб я видимым стал!

— Тихо, — ответила Старуха, — не кричи. Само сойдет постепенно, сначала рука, потом нога.

— На что же я буду похож — бегать здесь по горам, и только одну руку видно?

— На пятикрылую птицу, порхающую среди кустов и камней.

— Или одну ногу!

— На розового кролика, спящего в зарослях.

— Или одна голова в воздухе парит!

— На волосатый шар в день карнавала!

— А сколько времени надо, чтобы я *целым* стал?

Она прикинула, что, пожалуй, не меньше года.

Мальчишка застонал. Он начал хныкать, кусая губы и сжимая кулаки.

— Ты меня заморозила, это все ты, ты наделала. Теперь мне нельзя домой бежать!

Она моргнула.

— Так оставайся, побудь здесь, тебе у меня будет вот как хорошо, уж я тебя как холить стану.

— Ты нарочно это сделала! — выпалил он. — Старая карга, удерживать меня задумала!

И он вдруг метнулся в кусты.

— Чарли, вернись!

Никакого ответа, только стук его ног по мягкой темной траве и приглушенное всхлипывание, быстро смолкшее вдали.

Подождав, она развела себе костер.

— Вернется, — прошептала она. И добавила, заботясь о себе: — Зато у меня теперь будет компания всю весну и до конца лета. А уж тогда, как устану от него и захочется тишины, спроважу его домой.

\* \* \*

Чарли вернулся беззвучно вместе с первым серым проблеском дня; он прокрался по белой от инея траве туда, где возле разбросанных головешек, точно сухой обветренный сук, лежала Старуха.

Он сел на окатанные ручьем голыши и уставился на нее.

Она не смела взглянуть на него, вообще — в ту сторону. Он двигался совершенно бесшумно, как же она могла знать, что он где-то тут? Никак.

На его щеках были следы слез.

Старуха сделала вид, будто просыпается, — она за всю ночь и глаз-то не сомкнула, — встала, ворча и зевая, и повернулась лицом к выходу.

— Чарли!

Ее взгляд скользил вниз по соснам на землю, вверх — на небо, на горы вдальеке. Она снова и снова кричала его имя, и ей все мерещилось, что она глядит прямо на него, но она вовремя спохватывалась и отводила глаза в сторону.

— Чарли! Ау, Чарльз! — звала Старуха, слыша, как эхо ее передразнивает.

Губы его растянулись в улыбку: ведь вот же, совсем рядом сидит, а ей кажется, что она одна! Возможно, он ощущал, как в нем растет тайная сила, быть может, наслаждался сознанием своей неуязвимости, и, уж во всяком случае, ему *нравилось* быть невидимым.

Она громко произнесла:

— *Куда* этот парень запропастился? Хоть бы звук какой услышать, чтоб знать, где он. Я бы ему, пожалуй, завтрак сготовила.

Она принялась стряпать, раздраженная его упорным молчанием. Она жарила свинину, нанизывая куски на деревянный шомпол.

— Ничего, небось запах сразу услышит! — буркнула Старуха. Пользуясь тем, что она повернулась к нему спиной, он схватил поджаренные куски и жадно их проглотил.

Она обернулась, крича:

— Господи, что это?

Она подозрительно осмотрелась вокруг.

— Это *ты*, Чарли?

Чарли вытер руками рот.

Старуха засеменила по прогалине, делая вид, будто ищет его. Наконец ее осенило: она прикинулась слепой и пошла прямо на Чарли, вытянув вперед руки.

— Чарли, да *где* же ты?

Он вьюном ускользнул от нее, прыгая и приседая.

Ей пришлось напрячь всю силу воли, чтобы не побежать бдогонку — разве можно гнаться за невидимым мальчиком! — и, сердито ворча, она села возле огня, чтобы поджарить еще свинины. Но сколько она ни отрезала себе, он всякий раз хватал шипящий над огнем кусок и убегал с ним прочь. Кончилось тем, что Старуха, краснея от злости, закричала:

— Знаю, знаю, где ты! *Вон* там! Я слышу, как ты бегаешь!

Она показала пальцем, но не прямо на него, а чуть вбок. Он сорвался с места.

— Теперь ты там! — кричала она. — А теперь там... там! — Следующие пять минут ее палец преследовал его. — Я слышу, как ты мнешь травинки, топчешь цветы, ломаешь сучки. У меня такие уши, такие чуткие, словно розовый лепесток. Я ими слышу даже, как движутся звезды на небе!

Он втихомолку удрал за сосны, и оттуда донесся голос:

— А вот попробуй услышать, как я сяду на камень! Сяду и буду сидеть! Что!

И весь этот день он неподвижно просидел на своем камне, на прозрачном ветру, глотая слюни.

Старуха собирала хворост в чаше, чувствуя, как его взгляд зверьком юлит по ее спине. Ее так и подмывало крикнуть: «Вижу тебя, вижу! Это же я все придумала про невидимок! Вон ты сидишь!» Но она подавляла свое раздражение, не давая ему прорваться.

На следующее утро мальчишка стал безобразничать. Он внезапно выскакивал из-за деревьев, он корчил рожи: лягушачьи, жабы, паучьи, оттягивая свои губы вниз пальцами, выпучивая свои нахальные глаза, сплющивая свой нос так, что в ноздри можно было увидеть его лихорадочно думающий мозг.

Один раз она уронила вязанку хвороста. Пришлось сделать вид, будто испугалась сойки.

Он сделал руками движение, словно решил ее задушить.

Она вздрогнула.

Он притворился, будто хочет ударить ее ногой под колено и плюнуть ей в лицо.

Она даже не моргнула глазом, ее губы не дрогнули.

Он высунул язык, издавая странные, противные звуки. Он шевелил своими большими ушами, так что нестерпимо хотелось смеяться, и в конце концов она не удержалась, но тут же объяснила:

— Надо же, на саламандру села, дура старая! И до чего колючая!

К полудню вся эта кутерьма достигла опасного предела.

Потому что именно тогда Чарли пустился бежать вниз по долине совершенно голый, в чем мать родила!

Старуха едва не шлепнулась навзничь от ужаса!

«Чарли!» — чуть не вскрикнула она.

Чарли взбежал голый вверх по склону, голый помчался вниз по другому, голый, как день, голый, как луна, нагой, как солнце, как вылупившийся цыпленок, и ноги его мелькали, слетящего над землей.

У Старухи отнялся язык. Что сказать ему? «Оденься, Чарли?» «Как тебе не стыдно?» «Прекрати это безобразие?» Сказать? О, Чарли, господи боже мой, Чарли... Сказать? *Сейчас?*

Она видела, как он пляшет на скале, голый, словно день, когда он явился на свет, как топают босыми пятками, хлопает себя по коленям, то надувая, то втягивая свой белый живот, совсем как воздушный шар в цирке.

Она зажмурилась и стала читать молитву.

Три часа это продолжалось, наконец она взмолилась:

— Чарли, Чарли, иди же сюда! Мне надо тебе что-то *сказать!*

Он спорхнул к ней, точно падающий лист, — слава богу, одетый.

— Чарли, — сказала она, глядя на сосны, — я вижу палец на твоей ноге. *Вон он.*

— В самом деле видишь? — спросил он.

— Да, — сокрушенно подтвердила она. — Вон, на траве, похож на рогатую лягушку. А вон там, вверху, твое левое ухо

висит в воздухе — совсем как розовая бабочка.

Чарли заплясал.

— Я возвращаюсь, я возвращаюсь!

Старуха кивнула.

— А вон твоя щиколотка показалась.

— Отдавай мне обе ноги! — приказал Чарли.

— Получай.

— А руки как, руки?

— Вижу, вижу, одна ползет по колену, словно паук коси-косиножка!

— А вторая?

— Тоже ползет.

— А тело у меня есть?

— Уже проступает, все как надо.

— Голова... Бабка, мне нужна голова, чтоб я мог уйти домой.

«Уйти домой», — устало подумала она.

— Нет! — упрямо, сердито крикнула она. — Нет у тебя головы! Нету!

Оттянуть, оттянуть возможно дальше...

— Нет головы, нет, — твердила она.

— Совсем нет? — всхлипнул он.



— Есть, есть, о господи, вернулась твоя паршивая голова! — зашипела она, сдаваясь. — А теперь верни мне мою летучую мышь с иголкой в глазу!

Он швырнул ей мышь.

— Эге-гей!

Крик Чарли раскатился по всей долине, и еще долго после того, как он умчался домой, в горах бесновалось эхо.

Старуха, согнутая тяжелой, тупой усталостью, подняла свою вязанку хвороста и побрела к лачуге, вздыхая, бормоча. И Чарли всю дорогу шел вместе с ней, теперь уже в *самом деле* невидимый, она его не видела, только слышала — как если падает наземь сосновая шишка, или где-то под ногами журчит подземный поток, или белка карабкается на ветку; и вечером у костра она и Чарли сидели рядом, только он был совсем невидимым, и она угощала его свиной, но он отказывался, и она ела сама; потом она немного поколдовала и уснула рядом с Чарли, сделанным из сучьев, тряпок и камешков, но он был теплый, был ее собственным родным сыночком, сладко дремлющим на трепещущих материнских руках... И они разговаривали сонными голосами о чем-то приятном, пока рассвет не заставил пламя медленно-медленно поблкнуть...

Перевод с английского  
Л. ЖДАНОВА





**А. КРЫМОВ**

Эпоха парусного флота прошла. Каравеллы, бриги, корветы связаны в нашем представлении с первыми кругосветными путешествиями, с открытиями новых земель Колумбом, Магелланом, Крузенштерном...

Парусами оснащены сейчас специальные научно-исследовательские суда да немногочисленные шхуны, на которых проходят практику курсанты мореходных училищ.

И вдруг снова возникают разговоры о парусах. Вот-вот, будто начнется вторая жизнь парусного флота, но уже флота не морского, а космического...

Вспыхнет в ночном небе ярчайшая звезда — сверкнет в лучах невидимого за горизонтом солнца гигантский парус космического корабля и, увлекаемый давлением света, он сорвется с околоземной орбиты и умчится к Марсу, к Венере, к Юпитеру...

Не правда ли, фантастическая картина? Однако речь идет не о фантастике. В нескольких номерах «Инженерного журнала» в 1963—1964 годах было опубликовано большое исследование под названием «Механика космического полета с малой тягой», в котором впервые обобщалось все, что за последнее время стало известно о солнечных парусах<sup>1</sup>. Авторы исследования приводят многочисленные расчеты и доказывают, что космический корабль под солнечными парусами сможет доставить космонавтов даже к самым далеким планетам.

Как известно, проблемы ракетодинамики разрабатываются уже не одно десятилетие. Эта стремительно развивающаяся отрасль механики помогла создать мощные ракетные

<sup>1</sup> «Инженерный журнал», 1963, вып. 3 и 4; 1964, вып. 1 и 2, статья Г. Л. Гродзовского, Ю. Н. Иванова и В. В. Торкарева «Механика космического полета с малой тягой».

двигатели, которые вывели на орбиту искусственные спутники Земли, послали в космос человека, доставили вымпелы нашей Родины на Луну и Венеру, осуществили мягкую посадку советской автоматической станции на лунную поверхность.

Сейчас, когда уже решена проблема отрыва космических кораблей от Земли и реальными становятся сверхдальние космические полеты, ученых интересует и другая глава космической механики — механика полета кораблей с малой тягой, то есть полеты с ничтожными затратами горючего. Такими космическими устройствами и могут стать корабли с солнечными парусами.

Первая серьезная работа на эту тему, подчеркивают исследователи «малой тяги», была написана более сорока лет назад известным русским ученым Ф. А. Цандером.

В конце 1923 или в начале 1924 года в руки Цандера попало второе издание книги известного популяризатора Я. И. Перельмана «Межпланетные путешествия», в которой, по словам Циолковского, впервые пропагандировались его идеи о космических полетах с помощью мощных ракет. Цандера заинтересовало и то место в книге Перельмана, где коротко упоминалось о солнечных парусах. И хотя Перельман счел идею таких парусов совершенно вздорной, Цандера это обстоятельство не смутило.

Ученый легко обнаружил ошибку Перельмана. К сожалению, писал он, популяризатор не сумел различить две стороны проблемы: отрыв корабля от поверхности Земли и полет его в космическом пространстве. Первая задача действительно не может быть решена при помощи солнечных парусов, вторая выполнима и без помощи ракет.

Как известно, поток солнечных лучей оказывает на каждый квадратный метр поверхности Земли давление в  $\frac{1}{2}$  миллиграмма. Сверкающий солнечный парус из металлической фольги или тончайшей пластмассовой пленки, покрытой налетом серебра или алюминия, испытает давление в 1 килограмм на каждые 2 тысячи квадратных метров своей поверхности. Ничтожная величина! Стоящий на земле космический корабль даже не почувствует дуновения солнечного ветра. К тому же обычные воздушные потоки сомнут и разорвут почти прозрачные, нежнейшие крылья-паруса корабля прежде, чем их удастся полностью расправить. Иное дело в космосе. Здесь солнечные паруса могут быть сделаны сколь угодно большими. И если не считать возможных пробоин от ударов метеоритов, то им не угрожает ничто. «Наполненные светом» паруса неизбежно увлекут корабль, находящийся в состоянии невесомости.

Но что побудило Перельмана заговорить о солнечных парусах в книге, где главное внимание было уделено межпланетным ракетам?

Оказывается, «автор одного русского астрономического романа перенес своих герсев на другие планеты именно

в подобном снаряде. Его герои соорудили каюту из легчайшего материала, снабженную огромным, но легким зеркалом, которое можно было поворачивать наподобие паруса... В романе все выглядело правдоподобно и заманчиво». Но, увы, продолжает Перельман, его автор произвольно увеличил силу светового давления в тысячу раз и, кроме того, ошибся в своих арифметических подсчетах. Если же восстановить истину, окажется, что такой корабль совершенно неосуществим.

Перельман не назвал имени незадачливого, по его мнению, романиста. Сделаем это за него.

В 1913 году в Петербурге был напечатан роман Б. Красногорского «По волнам эфира». Герой романа однажды ворвался на заседание клуба «Наука и прогресс», произнес зажигательную речь о межпланетных странствиях, потряс почтенных членов петербургского клуба заявлением о том, что ему удалось найти силу, способную умчаться космический корабль и, прочитав лекцию об электромагнитной теории света Максвелла и об опытах П. Н. Лебедева по измерению давления света, объяснил, что космический корабль полетит, увлекаемый солнечными парусами.

Заручившись поддержкой влиятельного клуба и преодолев тысячи препятствий, герой романа благополучно стартовал в каком-то местечке вблизи Петербурга 20 сентября 19... года.

Вначале корабль при помощи аэростатов поднялся до высоты восемь с половиной километров. Здесь лучи Солнца снесли его со стартовой площадки и умчали в межпланетное пространство.

Первый полет не удался: космонавты попали в метеорный поток, и крупный камень оторвал зеркало-парус. К счастью, неуправляемый корабль был увлечен метеорным потоком к Земле и каким-то образом (это остается неясным) благополучно приводнился в Ладожском озере.

Книга заканчивается обещанием описать в дальнейшем новые удивительные приключения космонавтов во время странствий «по волнам эфира». Свое обещание Б. Красногорский выполнил, опубликовав в 1914 году в соавторстве с Д. Святским книгу «Острова эфирного океана».

На этот раз космонавты высадились на Венере, несмотря на то, что в пути подверглись нападению космических пиратов. Ими оказались граждане «соседней страны», выкравшие чертежи солнечного корабля и попытавшиеся первыми достичь Венеры. Интересно, что и при вторичном возвращении корабля на Землю посадка его снова была произведена на воду, хотя на сей раз уже в Каспийском море.

Таково краткое содержание двух первых фантастических произведений, в которых описывался новый способ космических путешествий.

Со дня публикации романа Б. Красногорского прошло более пятидесяти лет. Солнечные паруса прочно укрепились в арсенале писателей-фантастов. (С одним таким рассказом англичанина А. Кларка о гонках космических парусных яхт чи-

татель может ознакомиться в № 5 журнала «Вокруг света».) В настоящее время серьезно обсуждаются в научной литературе и проекты фотонных ракет. Идеи выдающегося русского физика П. Н. Лебедева, столетие со дня рождения которого недавно отметила наша общественность, воплощаются в реальность.

В заключение скажем немного о том, как представляют себе ученые наших дней полет на солнечных парусах.

Вес корабля вместе с парусом и кабиной был принят в одном из расчетов в 2,4 тонны, полезный груз составлял 1000 килограммов. Парус предполагается изготовить из тончайшей — в один микрон — пластмассовой пленки, покрытой блестящим налетом алюминия. К гигантскому круглому парусу с поперечником в полкилометра подвешат, как семечко к кленовой летучке, кабину космонавтов.

Конечно, ни развернуть, ни удержать в развернутом состоянии без сложной системы креплений такой парус у поверхности Земли невозможно. Но в безвоздушном пространстве и в условиях невесомости парус, «не имеющий толщины», развернется беспрепятственно и управлять им будет несложно.

Под напором светового ветра корабль начнет медленно набирать скорость — космонавты не почувствуют никаких перегрузок. Через несколько суток они уже покинут околоземную орбиту и начнут увлекательное плавание «по волнам эфира». Поворачивая парус под разными углами к солнцу, они смогут регулировать скорость движения и управлять полетом корабля.

Согласно расчетам, скорость может за сравнительно короткий срок достигнуть 200 километров в секунду. Это даст кораблю возможность долететь до Марса за четырнадцать месяцев, до Меркурия и Венеры примерно за полгода и до Юпитера за семь лет, не истратив, подчеркнем еще раз, почти совсем горючего.





СИНКЛЕР ЛЬЮИС

## Посмертное Убийство

*Рассказ «Посмертное убийство» написан известным американским писателем Синклером Льюисом в 1921 году. На русском языке публикуется впервые.*

**Я** приехал в Кеннуит, чтобы спокойно провести там летние каникулы, так как был очень утомлен после первого года работы в качестве адъюнкт-профессора<sup>1</sup>. К тому же я должен был окончить свою книгу «Жизнь Бена Джонсона». И уж меньше всего мне были нужны этот умирающий в душной комнате человек и груда записных книжек.

<sup>1</sup> Ученое звание в американских университетах.

Я жил на полном пансионе у миссис Никерсон, в домике, крытом серебристо-серой дранкой, под серебристо-серыми тополями, слушал только трещание цикад да отдаленный гул прибора, смотрел на двор, поросший ярко-зеленой травой, и делал заметки для книги о Бене Джонсоне.

Моя невеста Куинта Гейтс, сестра профессора Гейтса, достигшая в свои тридцать семь лет высот тончайшей культуры, настаивала на том, чтобы я встретился с ней и ее братом во Флит Харборе. Общество Куинты мне приятно. Правда, я не могу сказать, что нас очень увлекают такие проявления чувств, как поцелуи и нежные пожатия рук — я вообще не понимаю, почему, собственно, разумный человек должен испытывать удовольствие, держа влажную женскую руку в своей руке, — зато мы друг в друге находим вдохновение.

Но Флит Харбор был бы, конечно, переполнен летними бездельниками — ужасными молодыми людьми в белых фланелевых брюках, громко расппевающими джазовые песенки... Нет! При одной только мысли о моей полной свободе на деревенском просторе в тени ветвей я просто ежился от наслаждения. Я чувствовал, что вступаю в период научных мечтаний, когда дни и ночи, незаметно сливаясь, становятся чем-то единым. Понятно поэтому, что я был очень раздосадован, когда из крохотной передней до меня донесся чей-то встревоженный голос:

— Да, да!.. Если он профессор, так его мне и нужно...

Раздался стук в дверь. Я сделал вид, что не слышу. Стук стал раздражающе повторяться, пока я не заорал:

— Ну?.. Ну?.. Ну? Что такое?

Как мне кажется, я вообще человек довольно деликатный, но тут мне хотелось показать свое недовольство.

— К вам мисс Уайт из Лебстер Пот Нэка, — пропищала миссис Никерсон, вкатываясь в комнату. Мимо нее в дверь прощмыгнула женщина с унылым, изможденным лицом. Оттолкнув миссис Никерсон, она захлопнула дверь.

— Бог ты мой! — протестующе воскликнула миссис Никерсон. — Да что же это такое!

Кажется, я встал и проявил какую-то необходимую учти-вость.

— Вы профессор? — с чрезвычайной серьезностью обратилась ко мне эта женщина, мисс или миссис Уайт.

— Я преподаю английский язык.

— Вы пишете книги?

Я указал на ящик с рукописями.

— Тогда... тогда, пожалуйста... Вы должны нам помочь! Байрон Сэндерс умирает... Он говорит, что ему необходимо увидеться с каким-нибудь ученым человеком, чтобы передать ему очень важные документы.

Наверное, она почувствовала во мне какую-то нерешительность, потому что голос ее вдруг перешел в вопль:

— Умоляю! Умоляю вас! Он умирает... Этот чудный старик, который никому на свете не сделал зла!

Я засуетился по комнате, отыскивая свое кепи. Меня беспокоило, что глупые слова этой женщины о каких-то важных документах звучали так мелодраматически, точно речь шла о кар-

тах с указанием места, где зарыт клад, или о давно утерянных доказательствах того, что какой-то мальчишка-поденщик на самом деле похищенный ребенок королевской крови. Но все мои бессознательные попытки преодолеть настойчивость, выражавшуюся на лице моей посетительницы с его вытянутым, испуганно разинутым ртом, были напрасны. Она смотрела на меня в упор в нетерпеливом ожидании, а я теребил пальцами ворот и лацканы пиджака, вместо того чтобы просто стряхнуть с них пепел и стружки от карандаша. Наконец, спотыкаясь и едва переводя дух, я последовал за женщиной.

Она шла быстро, молча и сосредоточенно, а я шагал за ней на расстоянии шести дюймов, точно привороженный ее черным с красными полосами жакетом и крохотной коричневой шляпкой.

Мы прошли мимо серых городских домов и вступили в тихий пригород, озаренный предвечерним мерцающим светом. Потом, идя тропинкой среди высоких солончаковых трав, мы миновали бухту, где прыгали по берегу маленькие птички и в мелкой набегающей на песок зыби покачивались крабы. Мы пересекли пространство, поросшее вереском, и оказались на лужайке. Трава там клонилась от ветра, приносившего с собой острый соленый запах моря. Вдали бились о берег волны залива.

Мое замешательство вдруг исчезло, и я едва не рассмеялся. «Что это за чепуха из детской сказки? — подумал я. — А может быть, действительно клад? Что ж! Снаряжу флот на те шестьсот долларов, что имеются на моем счету в банке, разыщу скелеты пиратов... Важные документы!.. Хорошо, так уж и быть, ублажу умирающего джентльмена, вернусь домой и успею еще написать одну страничку перед ужином... А залив пленительно хорош! Надо бы в самом деле походить на лодке под парусом или хотя бы поплавать...»

Моя игривость, по меньшей мере неуместная в присутствии этой испуганно спешившей женщины, сразу померкла, как только мы спустились к болоту, поросшему клюквой, и вошли в тихий душный лес, где умирали от жары сосны. Да, они умирали, говорю я, как умирал старик в окруженном ими доме. Иглы сосен были цвета кирпичной пыли. Целые кучи этих опавших игл хрустели у меня под ногами; стволы сосен были тонкие и черные, со спутанными ветвями, и полутемные проходы между ними были наполнены удушливым запахом гниения. Было жарко и безветренно. В горле у меня пересохло, а ноги мои волочились с какой-то безнадежной вялостью. Пробравшись среди уродливых стволов и рыжих игл, мы подошли к огороженному дворику перед старинным, беспорядочно построенным домом. Это был темный и тихий дом. В нем уже много лет никто не смеялся. Окна были занавешены. Низкая веранда между главной частью дома и покосившейся пристройкой была усыпана сосновыми иглами.

Шаги моей спутницы пугающе и непристойно громко простукали по хлопавшим под ногами доскам крыльца. Она отворила дверь. Я приостановился в нерешительности. Я уже не чувствовал досады. Мне было страшно, и я не знал, отчего.

Весь в напряжении от непомятого беспокойства, я вошел в дом. Мы миновали холл, переполненный старыми реликвиями,

собранными в далекие времена кеннуитскими мореплавателями. Тут были позвоночник кита, футляр для карт, сделанный из клыков моржа, китайская ширма с полинявшими золотыми пагодами на ветхом, поблекшем черном фоне...

Мы вскарабкались по узкой лестнице, над которой нависал, словно потайной люк, угол какой-то таинственной комнаты наверху.

— Вот сюда, — прокаркала моя спутница, отворяя дверь.

Я медленно шагнул в комнату.

Теперь, по прошествии двух лет, я не совсем уверен, так ли это было, но кажется, я сразу же решил убежать, скатиться вниз по лестнице и, если понадобится, защищаться висевшим в холле бивнем слона от того неизвестного, что смутно виднелось в этом затемненном, лишенном всяких звуков помещении. Уже у порога меня окутал застоявшийся воздух, в котором смешались запахи скверных лекарств и грязного белья. Ставни были плотно затворены, и свет едва пробивался. Мне стало как-то легче, когда я разглядел кровать с пологом и лежавшего на ней жалкого старика с пергаментно-желтым лицом и понял, что страшное чудовище, которое я ожидал здесь встретить, — это всего-навсего обыкновенный больной.

Я узнал, что Байрону Сэндерсу был в то время семьдесят один год, но выглядел он девяностолетним старцем. Он был огромен. Ухаживавшей за ним женщине было, наверно, нелегко. Его мощные плечи под заплатами ночной рубашки возвышались над краем стеганого ватного одеяла. Шея была толстая, голова блестящая, как купол, — голова олимпийца, величественного даже на смертном одре.

В комнате, где он лежал, слишком долго жили. Она казалась свалкой ненужных вещей: расшатанные стулья, груды старой одежды, грязные пузырьки из-под лекарства, огромный письменный стол с выпирающими из него кучами писем и бумаг, потрепанные книги в коричневых в крапинку переплетах. Я был ошарашен, обнаружив среди этого хлама еще одну женщину, которая сидела так тихо, что казалась частью его. Кто она была, я так и не узнал.

Мужчина тяжело повернулся на кровати, вглядываясь в меня в мутном свете комнаты.

— Вы профессор? — прохрипел он.

— Это зависит от того, что вы имеете в виду, сэр. Я преподаю английский язык. Я не...

— Вы понимаете толк в поэзии, в очерках, в документальной литературе?

— Полагаю, что да.

— Я до некоторой степени ваш коллега... Байрон... — Он умолк, так как его душил кашель. Пританцовывая у кровати женщина терпеливо и медленно обтерла ему губы. — ...Байрон Сэндерс мое имя. До последнего года я сорок лет был издателем «Кеннуит бикона».

Тошнотворная вещь человеческое тщеславие! В этот благоговейно-торжественный час, слушая мольбу умирающего, я все-таки почувствовал удовлетворение, сравнивая свое солидное положение ученого с работой издателя какой-то мелкой газет-

ки с ее рекламами патентованных средств и с двумя полосами новостей о корове Джонса Брайна и плоскодонной лодке Джонса Смита.

Доверчиво глядя мне в глаза, Байрон Сэндерс продолжал:

— Я протяну недолго... Оно надвигается все быстрее... Раздумывать уже некогда. Я хочу, чтобы вы забрали литературное наследие моего отца. Человек он был нехороший, но это был гений. Здесь у меня его стихи и письма. Я много лет собирался прочесть их, а теперь уже поздно... я не могу их обнародовать. Вы должны...

Он опять отчаянно закашлялся и стал задыхаться. Тихая женщина бесшумно приблизилась и сунула мне в руки коробку с документами и груды записных книжек, которые лежали до этого на кровати.

— Вам надо уйти, — шепнула она. — Скажите «да» и уходите. Он больше не выдержит.

— Вы это сделаете? — с мольбой в голосе обратился умиляющийся гигант ко мне, чужому человеку.

— Да, да!.. Конечно... Я обнародую их, — пробормотал я, в то время как женщина подталкивала меня к двери.

Я пробежал по лестнице, потом через медно-красный сосновый лес и веселый открытый мыс, овеянный морским ветерком. Я знал, что может представлять собою поэзия этого несчастного «гения». Какие-нибудь рождественские вирши и стишки, где рифмуются «розы» и «грезы», «любить» и «забыть». Честно говоря, меня все это раздражало. Я с удовольствием вернул бы этот литературный скарб мистеру Сэндерсу, но поступить так было невозможно. Раз в жизни я проявил благоразумие: унес все рукописи домой и постарался о них забыть.

Но на следующей неделе в очередном номере «Кеннуит бикон», который я обнаружил в гостинной миссис Никерсон на столе поверх плюшевого альбома, я прочел, что Байрон Сэндерс, «основатель и в течение долгих лет высокоуважаемый издатель» этого еженедельника, скончался.

Я стал разыскивать его родственников, которым можно было бы передать поэтические творения его отца. Но таковых не оказалось. Байрон Сэндерс умер бездетным вдовцом.

В течение ряда месяцев эти докучливые бумаги валялись в моем письменном столе в университете. В первый день рождественских каникул я вспомнил, что не прочел еще ни единого слова из этих стихов и писем.

Квинта Гейтс ждала меня к чаю без четверти пять, и я мечтал о безмятежном общении с нею. Утомленный после того что законченного учебного семестра, я был в каком-то неуравновешенном состоянии духа и вдруг решил хотя бы бегло просмотреть жалкие вирши Джэсона Сэндерса. Это было в четыре часа. И только после девяти слабое ощущение голода вернуло меня в мою комнату, к угасшему камину.

За эти пять часов я открыл гения. Стихи, над которыми я так безобразно издевался, оказались вершиной творческого великолепия. Я встал и громко крикнул. Прислушался к звуку своего голоса, раскатившемуся по пустынному помещению уни-

верситета, и снова крикнул. Сказать, что я был взволнован, — это слишком бледное определение. Какая тут к черту «Жизнь Бена Джонсона»! Я очень пристрастно относился к своей работе. Она должна была принести мне славу. Но вероятно, что-то более высокое, чем честолюбие, вплелось в чувство уважения, которое я питал к Джэсону Сэндерсу — нечто вроде восторга создателя и гордости отца. Я порядком проголодался, но, презрев это, продолжал шагать по комнате. Мне казалось, что я где-то вне действительности. 1918 год был фантастически нереален, потому что я уже несколько часов жил в пятидесятых годах прошлого столетия. Тут было все: рукописи, к которым никто не прикасался с тысяча восемьсот пятидесятого года, в каждом их сгибе был аромат семидесятилетней давности: дневник, дагерротипы, письма, сохранившие свою свежесть. Письма от Эдгара По, от Эмерсона, Торо, Хотсорна и молодого Теннисона... Дневник велся с перерывами пятнадцать лет. В нем было достаточно данных для того, чтобы воссоздать историю жизни Джэсона Сэндерса, родившегося в 1825 году и, по-видимому, умершего в Греции в 1853-м.

Между мысом Код и океаном идет зловещая и нескончаемая война. То тут, то там океан поглощает какую-нибудь ферму или маяк, воздвигнутый на утесе, но в Кеннуите победила суша. Сегодня там песчаные отмели и теплые проливы, а сто лет тому назад была большая гавань, блиставшая сотнями кораблей, бурлившая новостями о финансовых крахах, гордившаяся китоловами, которые возвращались домой после многолетнего плавания у берегов Сибири, и кораблями из Вест-Индии, привозившими в изобилии ром, сахар и чуму.

Капитан Бэтьюэл Сэндерс, владелец судна «Сэлли С.», находился на пути из Кеннуита в Пернамбуко, когда появился на свет его единственный сын Джэсон Сэндерс. Из этого плавания Бэтьюэл Сэндерс не вернулся.

На каждом кладбище мыса Код рядом с маленьким молитвенным домом есть десятки надгробий с надписью: «Погиб в море». Теперь я знаю, что в Кеннуите одно из таких надгробий воздвигнуто в память Бэтьюэла Сэндерса.

Его вдова, дочь священника, много лет возглавлявшего приход в Труро, была здоровая, аккуратная, хозяйственная женщина. Бэтьюэл оставил ей небольшие средства. Она целиком посвятила себя домашнему хозяйству и приложила все усилия к тому, чтобы сын ее не ушел в море. Он не должен был умереть так, как умер его отец — совсем одиноко, последним из оставшихся на разбитом волнами судне.

У Сэндерсов был чистенький, но малоприветливый дом, ни одно из окон которого не выходило на залив. Жены моряков не очень любят смотреть на море, потому что их сильные молодые сыновья уходят туда, чтобы больше не вернуться. Миссис Сэндерс жила в своем низком коттедже с глухой стеной со стороны залива, страстно любя своего сына, но жестоко ограничивая все его стремления. Она была ему и матерью, и отцом, и любимой девушкой, и наставницей, и тираном. И это его угнетало. Он ласкался к ней, но боялся ее глаз, которые становились похожими на заледеневший уголь, когда она уличала сына во лжи.

На первых страницах дневника Джэсона — в ту пору ему бы-

ло тринадцать лет — имеется негодующая запись о том, что его одноклассники уже работают клерками в банках или в качестве молодых матросов огибают на кораблях сияющие берега Азорских островов, а он все еще сидит за уроками, точно девчонка, привязанная к фартуку матери.

Когда возвращавшиеся домой молодые мореплаватели насмеялись над Джэсоном, он принимал это как должное. Вероятно, он был трудолюбив и в меру порочен. Из кратких записей в его дневнике явствует, что однажды он избил Питера Уильямса, сына преподобного Абнера Уильямса, так, «что он едва мог двигаться». За эту провинность он был лишен права посещать молитвенный дом и стал отщепенцем, «скверным мальчишкой» поселка. Одноклассники презирали его и называли размазней, потому что он не пошел в море; их родители боялись его, так как он был известный драчун; его дядя Айра сердился на него за то, что он не захотел стать бакалейщиком, а мать негодовала, потому что у него не было призвания к священнослужению. Видимо, никто не давал себе труда понять этого юношу. Чтение в сочетании с одиночеством неизбежно привело его к писательству.

В свежие предвечерние часы на мысе Код, когда на палевых дюнах шелестели бледно-зеленые травы, он сидел, подперев подбородок рукой, и смотрел на море с его беспокойными волнами и на веселые паруса, которые то широко распускались, то совсем исчезали, когда шхуны поворачивали их на другой галс. И вечерами под ритмический шум прибоя он пытался найти слова, которыми мог бы оправдать себя и свою мнимую смелость.

Когда Джэсону исполнилось двадцать лет, он сбежал из дома на рыболовной шхуне. А когда этот сильный двадцатилетний парень вернулся домой, мать избивала его, и он, видимо, покорно снес это. В своем знаменитом дневнике он пишет по поводу этого случая следующее: «Мать поцеловала меня при встрече, а затем, будучи женщиной с причудами, неодобрительно относящейся к мужчинам моего характера, она сорвала с меня куртку и отхлестала меня куском китового уса, длинным и удивительно жестким. Я никогда не стану китоловом, если такой маленький кусочек кита может быть таким недружелюбным».

Благополучно завершив эту операцию, миссис Сэндерс, как женщина решительная, быстро женила юного пирата на соседке, которая была на четыре года старше его. Это была мило-



Рисунки С. ПРУСОВА

видная, набожная, но одаренная редкой тупостью особа. Через год у молодой четы родился сын — Байрон Сэндерс, которого я увидел умирающим старцем. Он родился в 1847 году, когда Джэсону Сэндерсу было двадцать два года.

Поскольку мечты и скрупулезное подыскивание красивых слов — это не работа для мужчины, Сэндерсу пришлось поступить на службу к владельцу крупной фирмы, поставившей снаряжение для моряков. Но вскоре он был уволен оттуда за пьянство и грубость, а также за кражу ножа стоимостью в два шиллинга. После этого пять или шесть лет он работал в парусной мастерской. Я представляю себе, как в промежутках между шиванием толстых кусков парусины он читал стихи, спрятав маленькую книжечку в складках марселя, и как он выцарапывал четырехдюймовой иглой план Трой на морских камнях.

Время от времени его увольняли за разные бесчинства, потом опять принимали, хотя и очень неохотно.

Надеюсь, что из моих высказываний нельзя вывести заключение, что я считаю Джэсона добродетельным молодым человеком. Вовсе нет. Он пил ямайский ром, воровал землянику, его поведение с местными девушками было не похвальным и даже просто недостойным. А нрав его был таков, что он то и дело затевал драку с матросами и регулярно, с целью или без цели, избивал злополучного Питера, сына преподобного Абнера Уильямса.

Однажды он позволил себе еще более низкий поступок. Некая дама из Бостона, супруга весьма уважаемого коммерсанта, приехала на лето в Кеннуит, как приезжают теперь толпы оголтелых теннисистов, которые наводняют мыс Код и нарушают спокойствие занятыми размышлениями адъютант-профессоров. Эта достойная леди была образованна и, несомненно, музыкальна и артистична. Она узнала, что Джэсон Сэндерс поэт, и ей пришло в голову оказать ему покровительство. Несколько напыщенным тоном она предложила ему явиться в воскресенье к ней, чтобы почитать свои стихи для развлечения ее бостонских родственников. За это он должен был получить шиллинг и остатки слоеного пирога с курицей.

В дневнике Джэсона есть об этом многозначительная запись: «Я послал ее к черту. Она, кажется, обиделась».

Вся соль заключается в том, что спустя три недели Джэсон обратился к этой даме с просьбой разрешить ему сделать то, чем он пренебрег. «Она поступила правильно, указав мне на дверь», — пишет он без всяких дальнейших подробностей.

Нет, Джэсон не был добродетельным. Он совершенно беззаботно бросил жену и ребенка, когда через год после смерти матери сбежал, чтобы принять участие в Крымской войне. Но я думаю, что этот поступок легче понять при внимательном исследовании, которое предпринял я, когда при помощи микроскопа и до боли напрягая зрение, рассматривал дагерротип, изображавший Джэсона, его жену и сына.

В двадцать шесть или двадцать семь лет у Джэсона был прямой нос и плотно сжатый рот. На его правый висок падал непокорный локон. Джэсон носил высокий, но открытый и пышный воротник, из-под которого спереди спускался широкий, складками галстук-шарф. Пушистые баки подчеркивали решим-

тельные линии подбородка и лба. Тяжелый долгополый сюртук с большим воротником и широкими отворотами — одежда довольно нескладная — выглядел на нем элегантно, как плащ. Но жена! Тупо уставленные в пространство глаза и рот, которому горести и страстные моления придали какую-то мрачную твердость, казались на этом старом портрете совершенно лишними способностями улыбаться.

Сын их был коренастым мальчишкой. Когда я видел Байрона Сэндерса умиравшим в доме среди соснового леса, он производил впечатление благочестивого и спокойного человека, но в шесть или семь лет это был толстощекий парень, вероятно ревеший по всякому поводу. Так или иначе по какой-нибудь причине или вовсе без причины Джэсон Сэндерс подло покинул свое семейство.

В 1853 году в начале столкновения между Россией и Турцией, перешедшего потом в Крымскую войну, Греция задумала вторгнуться в Турцию. Позже, для того чтобы предотвратить соглашение между Грецией и Россией, французские и английские войска укрепились на Пирее, но некоторое время Греция еще казалась свободной.

Дневник Джэсона Сэндерса кончается следующей записью: «Завтра я покидаю эту страну песков и замусоренных песком мозгов и держу курс на Лонг Айленд на шхуне моего друга Берси. Оттуда — в Нью-Йорк, а потом на корабле в Пирей, во славу Греции и в память Байрона. Можно ли умереть прекраснее, чем умер он? И не найду ли я там какого-нибудь мудрого человека, который поймет меня? Благодарение судьбе, что моя любезная супруга ничего об этом не знает. А если и узнает, да простит она мне, как прощаю ей я».

Вот и все. Все, если не считать вырезку из «Линмаут ньюз леттер», в которой спустя семь лет сообщалось, что, по исчезновению мистера Джэсона Сэндерса никаких сведений о нем не поступало, вдова его обращается в суд с просьбой официально признать его умершим.

Таковы формальные данные о жизни Джэсона Сэндерса. Но настоящая его жизнь была только в его творчестве, а оно овеяно несомненной гениальностью. За пять лет до того, как стал известным Уитмэн, Джэсон Сэндерс уже слагал стихи, которые



мы называем теперь «свободным стихосложением». В них — прелесть печального, иссушенного приливами сада, прелесть печальной женщины, у которой все похищено морем, и она бродит день за днем среди умирающей, бесплодной красоты. Это любимая тема Джэсона, и в стихах его блеск и твердость льда.

Теперь о письмах: Джэсон посылал свои рукописи некоторым знаменитым своим современникам. Большею частью он получал от них уклончивые ответы. Единственным его вдохновителем был Эдгар Аллан По, который в 1849 году, сам уже глубоко страдавший от своего последнего разочарования, сочувственно писал:

«Я клянусь своей душой, что вы талантливы. Вы пойдете далеко, если сможете устоять перед ненавистью, отвращением, людским забвением и горечью хлеба, перед порицанием ваших лучших творений; если сможете преодолеть робость и не увлечетесь пустыми похвалами пожилых матрон и манерных дам».

Это письмо было последним из того, что я прочел до наступления сумерек в первый день рождественских каникул. На другой день самым ранним поездом я отправился на окованный зимним холодом мыс Код.

Так как Джэсон умер шестьдесят пять лет тому назад, его никто уже не мог помнить, кроме людей в возрасте восьмидесяти лет и старше. Я разыскал одну такую женщину, но кроме: «А?.. Что?», — добился от нее только, что «Джэсон был пугалом даже для змей». Оказалось, по словам этой женщины, что он сбежал от своей семьи и вообще вел себя неподобающе. «Стихи? Он писал стихи? Да что вы! Он же работал в парусной мастерской!»

Услышал я еще о некоем Абнатре Гулде. Ходили слухи, почти уже ставшие мифом, что этот восьмидесятисемилетний старец в прошлом пролил не мало человеческой крови. Это был своеобразный пират, который обманными огнями сбивал корабли с курса, а потом вместе со своей бандой грабил и топил их. Он не боялся выходить на своей китоловной шхуне в открытое море во время шторма, но милосердие было ему чуждо. Жил он не в самом Кеннуните, а на песчаной косе возле Джудис Шоалс.

— Как мне добраться туда? — спросил я миссис Никерсон.

— О-о! Это совсем легко. Можно даже пойти пешком.

Вот я и отправился и прошагал пять миль навстречу порывистому ледяному ветру, забивавшему мне рот песком. На мне была енотовая куртка Арона Блюмера, серый фланелевый шарф миссис Никерсон, высокие рабочие сапоги Дэвида Дила и теплые красные перчатки миссис Антонии Срэрос. Моими были только очки, сводимые судорогами икры, тяжелое прерывистое дыхание и рожденный им иней на жестком воротнике куртки. Каких только клятв не давал я, преодолевая этот путь. Я готов был бросить курение, начать регулярно заниматься дыхательной гимнастикой...

Мимо бухточки, где торчали запорошенные снегом травы, вдоль заледеневшего берега, который жег мне ноги при каждом шаге, среди песчаных дюн, моментами дававших некоторую защиту от ветра, и снова на волю бушующей стихии, где

смешивались вой ветра и грохот прибора — так я шел, пока не свалился обессиленный на обледенелые ступеньки крыльца одинокой хижины капитана Абиатра Гулда.

В свои восемьдесят семь лет он не был ни глух, ни бестолков. Подойдя к двери, он внимательно оглядел меня и проворчал:

— Чего тебе надо? Выпивки принес?

Я не принес ничего, и по этому поводу последовал длинный разговор, пока я прожаривался у печки, возвращая к жизни свои застывшие мускулы.

У Гулда была только одна койка — куча сваленных друг на друга одеял, шарфов и обрывков мешковины. Мне не хотелось оставаться у него ночевать, а капитану, видимо, этого хотелось еще меньше, чем мне. Нужно было возвращаться домой, и я приступил к делу:

— Скажите, капитан, вы знали Джэсона Сэндерса?

— Сэндерса?.. Я знал Байрона Сэндерса и Гидеона Сэндерса из Уэллфлита... и Сэфаса Сэндерса из Фолмауса... и Бэтти Сэндерс, но никакого Джэсона Сэндерса не знал... О-о! Да это, наверное, отец Байрона Сэндерса? Ну конечно! Его-то я помню. Он лет на восемь или девять старше меня. Умер где-то на чужбине. Я был юнгой на «Дансинг джиг», когда он ушел на рыболовной шхуне. Один-единственный раз и побывал в море... Моряк-то он был никудышный!

— Да, но что вы помните о...

— Ничего я не помню! Джэсон с нами, другими ребятами, никогда не водился. Сидел, уткнув нос в книжку. Говорили, что он здорово дрался, но я этого не знаю.

— Но разве вы... Ну... как он говорил, например?

— Говорил? Да так, как и все люди, наверное. Только он не был рыбаком, как мы все. Да.. Один раз он отколотил меня за то, что я порвал какие-то исписанные бумажки, чтобы сделать пыжи для ружья...

— Что же он сказал вам тогда?

— Он сказал...

Было бы, пожалуй, нескромным передавать сейчас то, что сказал тогда Джэсон. К тому же капитан Гулд вдруг заявил:

— Кажется, я спутал его с каким-то другим парнем... Столько лет прошло... — Он вдруг удивился: — Но управляться со шхуной он все-таки не умел. Нет! Какой уж из него моряк!

Когда я вернулся в Кеннуит, у меня был отморожен нос.

До 1887 года в Кеннуите не выходила ни одна газета, поэто-



му мне больше ничего не удалось раскопать. Но именно эта полнейшая неизвестность сделала Джэсона Сэндерса моей собственностью. Я знал о нем неизмеримо больше, чем кто бы то ни было. Он был темой моей работы, моим духовным предком и любимым сыном. Я чувствовал в нем значительность и благородство человеческой жизни, которые — с огорчением должен это признать — редко встречал в общении с моими студентами. Я иногда раздумывал над тем, сколько таких Джэсонов могло затеряться в рутине университетских занятий. Я забросил свою работу над Беном Джонсоном и чувствовал себя, точно водитель захудалого автобуса, превратившийся вдруг в автомобилиста-гонщика.

Что касается Куинты Гейтс, то, когда в феврале я встретил ее на приеме у президента, она сказала, что я пренебрегаю ею. В то время я подумал, что она просто дразнит меня, но потом меня взяло раздумье. Она была слишком холодна, и в ней не чувствовалось той искренности, на которую я привык полагаться. Но мне было все равно. Бродя по дюнам с моим Джэсоном, я не мог вернуться к Куинте, чтобы говорить с ней о сонетах в голубых сумерках комнаты над чайными чашечками из прозрачного фарфора.

Я преподнес миру Джэсона Сэндерса в потрясающей статье, помещенной в газете «Уикли Ганфалон». Большая часть ее была перепечатана воскресным литературным приложением к «Нью-Йорк курьер», где был помещен портрет Джэсона и — могу скромно отметить это — мой также. Фотография довольно интересная: я в коротких брючках сижу рядом с Куинтой на теннисном корте.

Далее тему о Джэсоне подхватила «Нью-Йорк джем». Но ни я, ни моя статья там не упоминались, и во всю страницу был дан кричащий заголовок: «Злобная европейская конспирация скрывает смерть величайшего американского барда». Я был удивлен такой кражей, хотя мне забавно было видеть, как создается новый мифический национальный герой. В «Нью-Йорк джем» описывалось, как Джэсон Сэндерс плавал по всем морям, водил свою команду в Танжер на спасение несчастной христианской девушки, похищенной турками. По поводу такого пустяка, как покинутые жена и ребенок, «Джем» проявила странную рассеянность. По ее сообщению, супруга Джэсона якобы со слезами просила его: «Иди, куда зовет тебя твой долг», — после чего он расцеловался с ней, оставил ей хорошее состояние и торжественно отправился в путь. Но главным шедевром газеты «Джем» было интервью с Абиатром Гулдом, любезную разговорчивость, которого я уже изображал. В газете «Джем» Гулд разглагольствует так:

«— Мы, мальчишки, были народ отчаянный, плавали на всяких негодных суденышках, но капитан Джэсон Сэндерс был для нас богом. Никто из команды не отважился бы, подобно ему, прыгнуть за борт в зимний шторм для того, чтобы спасти несчастных ребят, у которых волнами перевернуло лодку. А ведь он был такой спокойный, такой ученый... Между вахтами только и делал, что сидел над книжкой со стихами... Эх! хороши были денечки на бригантине «Дансинг джиг»!»

Мне думается, что репортер газеты «Джем» снабдил Абиа-

тра Гулда тем напитком, которого я захватить с собой не догадался.

Честно говоря, я почувствовал злость, не подобающую ученому. Мой герой уплывал из моих рук, и мне хотелось вернуть его. Это мне удалось. Никто не знал, что произошло с Джэсоном после того, как он отправился в Грецию. Это выяснил я. С помощью приятеля, работавшего в историческом архиве, я просмотрел все доступные для обозрения документы по истории Греции в 1853—1854 годах. Я был уверен, что такой отчаянный парень, как Джэсон, должен был пробиться сквозь сухие газетные отчеты.

Мы обнаружили, что в 1854 году, когда французы и англичане оккупировали Пирей, какой-то таинственный лейтенант Джэсмин Сэндек появился в Афинах как народный герой. Вы замечаете сходство? Джэсмин Сэндек — Джэсон Сэндерс. Романтически настроенный молодой человек мог приукрасить свое американское имя. Кто был лейтенант Сэндек, никто точно не знал, но он не был греком. Французы считали, что он англичанин, англичане говорили, что он француз. Он был предводителем шальных молодых афинцев в их набеге на французскую линию обороны. Его схватили и немедленно расстреляли. А после смерти лейтенанта Сэндека какой-то американский моряк заявил, что это был его двоюродный брат и что фамилия его вовсе не Сэндек. Настоящую фамилию он, однако, не сообщил и закончил свое утверждение так: «Мой двоюродный брат был родом из Кенненбункпорта, где многие считали его ненормальным!»

Есть ли необходимость указывать на то, как легко мог греческий писак спутать Кенненбункпорт с Кеннуитом? Так же легко, как этот неизвестный двоюродный брат спутал безумие с гениальностью.

Представьте себе картину смерти Джэсона. Разве это не достойный его конец? Разве лучше было бы ему бездельничать на парусном складе или стать бакалейщиком, священником, адъюнкт-профессором? Представьте себе полуденное солнце Греции, озаряющее выбеленную стену; темно-фиолетовое море, холмы с мраморными отложениями, воспетые Сафо, и юношу, может быть, одетого в нелепую форму — французский кивер, ярко-красную британскую куртку, брюки, купленные на мысе Код, и греческие сапоги. Он стоит в мечтательной задумчивости, но совсем понимая, что происходит; перед ним ряд солдат с длинными мушкетами... Залп!... Вспышка огня смешивается с облачком пыли...

Отчет о всех этих фактах, касающихся Джэсона Сэндерса, я дал в своей второй статье в «Ганфалон». К этому времени все уже говорили о Джэсоне. Настало время написать о нем книгу.

Я работал над ней целый год. В нее вошло все то, что писал сам Джэсон, а также биографии трех поколений Сэндерсов. Книга имела заслуженный успех, и дурная репутация Джэсона сменилась настоящей славой. В 1919 году, через шестьдесят лет после смерти, он возродился для новой жизни. Одна предприимчивая компания отпечатала типографским способом его портреты, которые были повешены в школах рядом с портре-

тами Лонгфелло, Лоуэла и Вашингтона. Это возвращение к жизни было настолько реальным, что мне даже довелось увидеть его в Нью-Йорке, в инсценировке, посвященной великим людям Америки. Какой-то способный молодой человек, удачно загримированный, изображал в ней Джэсона беседующим с Эдгаром По. Затем он появился в качестве героя романа, был снисходительно упомянут знаменитой английской поэтессой. Смерть его послужила темой для картины: представители некоей кинокомпании запросили о возможности создания фильма о Джэсоне. И в эту пору бурного расцвета его новой жизни он был внезапно убит.

Яд, от которого наступила его вторая смерть, заключался в письме, присланном в «Ганфалон» Уитни Эджертоном, доктором философии и адъюнкт-профессором по кафедре английской литературы в Меланктонском колледже. Хотя я никогда не встречался с Эджертоном, но мы были давнишними противниками. Неприязнь началась с моей суровой, но справедливой критики одной его книги.

Эджертон был единственным человеком, позволившим себе насмешку над Джэсоном. В предыдущем своем письме в «Ганфалон» он намекал на то, что Джэсон заимствовал свои поэтические образы из китайской лирики. Блестящая осведомленность! Джэсон, вероятно, даже не знал о существовании у китайцев какой бы то ни было литературы, кроме квитанции из прачечной. А вот второе письмо Эджертона:

«Я видел репродукцию скверной картины под названием «Смерть Джэсона Сэндерса», изображающую расстрел этого очаровательного молодого человека в Греции. Однако мистер Сэндерс вовсе не был расстрелян в Греции, хотя это было бы неплохо. Он не был Джэсмином Сэндеком. Конечно, превращение честного простого имени в слащавую конфетку — это вещь вполне ему свойственная, но фактически места не имевшая. Героически погибнуть в Греции в 1854 году Джэсону не удалось по той простой причине, что с декабря 1853 года по апрель 1858-го он отбывал наказание в исправительной тюрьме штата Делавар за два доказанных преступления: поджог и покушение на убийство. К Греции же он за всю свою жизнь не был ближе, чем в тех стихах, которые писал в камере Делаварской тюрьмы.

Примите... и прочее.

Д. Уитни Эджертон».

Издатель «Ганфалона» телеграфировал мне содержание этого письма слишком поздно для того, чтобы я успел предотвратить его напечатание. Час спустя после получения телеграммы я уже ехал в Делавар, начисто забыв, что Куинта ждала меня к обеду. Я был уверен, что, как говорят мои студенты, «прижму» этого Эджертона!

Начальник тюрьмы заинтересовался этим делом и помог мне, вытащив все старые регистрационные книги. Мы хорошо просмотрели их. Слишком хорошо! Мы прочли, что Джэсон Сэндерс из Кеннуита, женатый, по профессии парусный мастер, был приговорен к тюремному заключению за поджог и покушение на убийство и пробыл в тюрьме более четырех лет.

Позже в Уилмингтонской библиотеке в старых подшивках

давно не существующих газет я разыскал заметку, датированную ноябрем 1853 года.

«В доме мистера Палатинуса, весьма уважаемого фермера, живущего близ Христианенбурга, произошел случай, который нельзя рассматривать иначе, как возмутительное хулиганство. В прошлый четверг мистер Палатинус предоставил пищу и ночлег какому-то бродяге, назвавшемуся Сэндерсом, за выполненную последним небольшую работу. На следующий вечер этот человек нашел спрятанный в амбаре спирт и, напившись, стал требовать у мистера Палатинуса денег, потом ударил его, швырнул на пол лампу и таким образом вызвал пожар в доме. Сэндерс задержан и должен предстать перед судом. Говорят, что это бывший матрос с мыса Код. Интересно, куда смотрят наши официальные блюстители порядка, если такие опасные преступники беспрепятственно гуляют на свободе?»

Я не торопился оглашать мои открытия. Это сделал корреспондент газеты «Нью-Йорк джем». Его отчет получил широкое распространение в печати. Портреты Джэсона были сняты во всех школах.

Я возвратился к своим занятиям в университете. Меня поддерживала только верность Куинты. Сидя у камина и подперев подбородок своими тонкими пальцами, она произнесла:

— А может быть, тут какая-то ошибка?

Эти слова воодушевили меня. Возможно, я покинул Куинту слишком поспешно, но ведь только она одна всегда понимала и прощала меня. Я бросился домой, задержавшись по пути, чтобы позвонить по телефону моему другу из исторического архива. Он уверил меня, что есть очень часто встречающаяся в Греции фамилия Палатайнос. Заметьте, какое сходство с фамилией Палатинус! Я даже затанцевал в телефонной кабине аптеки, весело забарабанил пальцами по его гулким стенкам и, выглянув, увидел одного из моих студентов, который покупал плитку шоколада и неприлично ухмылялся, смотря на меня. Я попытался поскорее выбраться из кабины, но с трудом привел ноги в соответствие с моими намерениями.

Я начал свое письмо в «Ганфалон» в десять часов вечера, а кончил его холодным утром, около пяти часов. Помню, как я метался взад и вперед по комнате без всякого намека на собственное достоинство, как я неизвестно зачем раскачивался, ухватившись за медную перекладину кровати, бил кулаками по столу, закуривал папиросы и швырял их недокуренными на пол. В моем письме я доказывал, вернее старался доказать, что фамилия Делаварского фермера была не Палатинус, а Палатайнос. Что он был грек. Что он не мог приютить и накормить Джэсона за выполненную им работу, потому что дело происходило зимой, когда работ на ферме очень мало. Я утверждал, что этот Палатайнос был агентом греческих революционеров и Джэсон был послан на свидание с ним из Нью-Йорка. Взволнованный юноша приехал, готовый принять любой приказ Палатайноса, каким бы трудным ни было его выполнение, и обнаружил, что Палатайнос предатель, действующий в пользу Турции. Сидя в кухне у выложенного побеленными кирпичами очага, Палатайнос изливал перед испуганным молодым человеком ядовитые измышления международного шпиона. Он убеждал

Джэсона вести шпионскую работу среди греков в Америке. Потрясенный Джэсон с трудом добрался до постели. Весь следующий день он сопротивлялся домогательствам предателя. Палатайнос напоил его коньяком. Поэт впал в раздумье, потом внезапно вскопчил и бросился на Палатайноса. При этом опрокинулась лампа, отчего сгорела часть дома. Озадаченный случившимся, деревенский полицейский арестовал приезжего, никому не известного молодого человека.

Сэндерс попал в тюрьму, как настоящий мученик, пострадавший за свободу. Он мог бы поистине быть расстрелянным в Греции в теплый солнечный полдень. Это очень вероятно.

О том, как я восстанавливал подлинную историю Джэсона, много писалось в «Ганфалоне» и вообще не только в Америке, но и за ее пределами, но я в то время был так расстроен, что даже не очень этим гордился. «Меркюр де Франс» упомянула о моей работе, непростительно исказив мою фамилию.

Я решил заняться исследованием событий из жизни Джэсона, происшедших после его освобождения из тюрьмы, поскольку теперь я не знал, где же и когда он на самом деле умер. Я строил по этому поводу кое-какие планы, когда появилось еще одно письмо тайного убийцы Джэсона — Уитни Эджертона. Он в насмешливом тоне заявлял, что Палатинус совсем не Палатайнос, что он не грек, а швед.

Я написал Эджертому, требуя, чтобы он представил доказательство своих утверждений и сообщил их источники. Он не ответил мне. Не ответил на полдюжины посланных мною писем.

Редакция «Ганфалона» заявила, что ее ввели в заблуждение в отношении Джэсона и что ничего больше она о нем печатать не будет. Таким образом, Джэсон Сэндерс был убит в третий раз и, по-видимому, должен был остаться навсегда мертвым.

Расстроенный, сильно издержавшийся на свои понски на мысе Код и в Делаваре, предупрежденный деканом о том, что мне следует заниматься преподаванием и прекратить нелепые попытки приобрести известность, я покорно погрузился в учебную работу, притворяясь потерпевшим поражение. Однако мне все-таки не терпелось узнать, где же и когда умер Джэсон. Не мог ли он, например, сражаться во время гражданской войны в Америке? Но как это узнать? И тут произошло самое удивительное из моих приключений, связанных с делом Джэсона.

Я пил чай у Куинты. Меня иногда беспокоило, что ее, может быть, уже утомили мои постоянные рассуждения о Джэсоне. Я не хотел надоедать ей, старался этого не делать, но ни о чем другом думать не мог. И надо сказать, что только она одна умела сносить это.

— Как... ну как заставить Эджертона рассказать все, что он знает? — произнес я, тяжело вздохнув.

— Поезжай и поведишься с ним! — несколько нетерпеливо отозвалась Куинта.

— Но ты же знаешь, что я не могу себе это позволить, поскольку все мои сбережения истрачены, а Эджертон живет бог знает где — в Небраске!

К моему удивлению, Куинта встала, вышла из комнаты и,

вернувшись, протянула мне чек на триста долларов. Гейтсы люди состоятельные, но я, естественно, не мог взять эти деньги и отрицательно покачал головой.

— Пожалуйста, — сказала она резко, — давай покончим с этим!

Меня вдруг осенила надежда.

— Значит, ты веришь в Джэсона? А я-то думал, что ты к нему равнодушна!

— Я?! — вырвалось у нее. Потом она продолжала сдержанно: — Не будем об этом говорить, прошу тебя... Скажи лучше, тебе не кажется, что в этой симфонии была допущена ошибка?..

Мой разговор с деканом перед тем, как я отправился на поезде в Меланктон, Небраска, был не особенно приятным. Я придумал следующий план: это был конец академического года, и я решил притвориться человеком, который, проработав в качестве служащего в каком-то предприятии, желает подготовиться для получения диплома о высшем образовании по английскому языку, но должен сперва сдать предметы, уже несколько забытые со времени окончания школы. Я хотел сделать вид, что желал бы подготовиться под руководством прославленного доктора Уитни Эджертона, которого прошу взять меня к себе на полный пансион. Такому молодому ученому, как Эджертон мои деньги могли прийти кстати, думал я, живя у него, я мог бы без особого труда порыскать в его кабинете и обнаружить какие-нибудь документы или письма, послужившие источником его тайных сведений о Джэсоне.

Я решил назваться фамилией Смит. Это было, пожалуй, удачно придумано, поскольку такая обычная фамилия вряд ли привлекла бы особое внимание. Все казалось разумным и легко осуществимым.

Но когда в Меланктоне мне указали дом Эджертона, я понял, что он вовсе не бедняк, а, к сожалению, очень богатый человек. У него был великолепный особняк с белыми колоннами, слуховыми окнами, чугунными оконными решетками, кирпичной террасой и английским садом.

Я с трудом добился разрешения войти и прямо потребовал свидания с Эджертоном. Это был широкоплечий напыщенный молодой человек в очках без оправы. Он принял меня в роскошном кабинете с бархатными портьерами на окнах, с широким письменным столом и стенными шкафами, наполненными книгами, о которых я мог только мечтать. По сравнению с этим обширным белым с нежно-голубой отделкой помещением мои две комнатки казались нищенскими.

Я предполагал, что мне придется скрывать свою ненависть, но вместо этого меня охватило смущение. Однако, клянусь богами, это ведь я, захудалый ученый, создал Джэсона, а этот эlegantный надутый дилетант без всякой причины нанес ему удар ножом!

Поглядывая по сторонам, я, может быть, менее искусно, чем предполагал, изложил Эджертону мое желание работать под его руководством.

— Вы очень любезны, — ответил он, — но боюсь, что это

невозможно. Я рекомендую вас кому-нибудь другому. Между прочим, какой колледж вы кончили?

Одному богу известно, как мне пришло это в голову, но я назвал какое-то провинциальное учебное заведение под названием Титус-колледж, о котором ровно ничего не знал.

Эджертон оживился.

— Да? А вы знаете, что мое первое учительское место было как раз в Титус-колледже? Уже много лет я не получал оттуда никаких вестей! Как поживает ректор Долсон? А миссис Зибель? О-о! А как себя чувствует милый старичок Кассаурти?

Да простит мне начальство Титус-колледжа! Я рассказал, что ректор болеет лихорадкой, что Кассаурти — профессор, швейцар или деревенский могильщик, кто знает? — очень увлекается гольфом. Что касается миссис Зибель, то всего несколько месяцев тому назад она угощала меня чаем.

Это как будто удивило Эджертона. Я часто потом думал, чем скорее всего способна была угостить миссис Зибель — чаем, джином или купоросом.

Эджертон сумел быстро от меня отделаться. Он вежливо вытолкал меня. С улыбкой сообщив мне фамилию подходящего для меня руководителя, он жестами увлек меня к двери и даже не пригласил побывать у него еще раз.

Я сел на скамейке на станции Меланктон. Очевидно, я приехал с берегов Атлантического океана для того, чтобы сидеть здесь на сломанной скамейке и смотреть, как какой-то гражданин плюет в ящик с опилками!

Я провел ночь в непрезентабельной гостинице и на следующий день снова пошел к Эджертону, заранее предполагая, что мое появление его не порадует. Так оно и было. Я попросил разрешения посмотреть его библиотеку. Он оставил меня одного, раздраженно предупредив: «Не забудьте затворить входную дверь, когда будете уходить».

Рискуя тем, что кто-нибудь может войти, было бы не безопасно шарить в письменном столе или в шкафах в поисках документов о Джэсоне. Но, пока я стоял у окна, делая вид, что читаю, мне удалось настолько отвернуть винты на задвижке подъемной рамы окна, чтобы окно можно было легко поднять снаружи.

Итак, я собирался совершить в этом кабинете кражу со взломом!

В ту же ночь, вскоре после полуночи, я вышел из своей комнаты в гостинице, зевая посидел в холле, перелистал для вида несколько потрепанных журналов и со вздохом сказал сонному дежурному:

— Пойду немножко подышу свежим воздухом перед сном.

Во внутреннем кармане у меня были отвертка и электрический фонарик, купленные утром в скобяной лавке. Из детективных романов, которыми я иногда увлекался, мне было известно, что фонарик и отвертка, или «джимми», — вещи необходимые ворами при их работе.

Идя по улице, я пытался принять свирепый вид, чтобы напугать всякого, кто решился бы остановить меня. Для этого я спрятал в карман очки и привел в беспорядок галстук.

Наверно, я как-то утерял в это время свое нормальное равновесие, потому что ради доброго имени Джэсона Сэндерса готов был рискнуть своей незапятнанной репутацией, которой так дорожил. И вот я, наставник уважавших меня студентов, прокрался через проволочную ограду и оказался в саду Эджертона. Сад был огорожен забором со всех сторон, кроме той, что выходила на улицу. Именно туда мне предстояло бежать в случае неудачи — прямо на свет уличного фонаря. Внезапно меня охватила дрожь, и я потерял уверенность в том, что мне следует находиться в этом саду.

Нет, я не мог это сделать!

Со всех сторон мне чудились угрозы. Не выглядывает ли кто-то из окна верхнего этажа? Не шевельнулась ли портьера в кабинете? Не скрипнуло ли что-то позади меня? Я, который ни разу в жизни не разговаривал с полицейским, кроме тех случаев, когда спрашивал дорогу, теперь забрался сюда, рискуя, что со мной обойдется, как с обычным бродягой, будут стыдить меня, грубо хватать за руки!

Осторожно подбираясь к окнам кабинета, я чувствовал смущение под взорами воображаемых глаз. Я не помню, чтобы я боялся быть застреленным, нет! Мое чувство было более расслабляющим и менее определенным. Я как бы ощущал изумленное негодование со стороны школы, церкви, банков, суда и... Куинты. Но все же я приблизился к среднему окну, тому самому, у которого я ослабил задвижку.

Но нет! Я не мог это сделать!

В детективных рассказах это кажется очень легко, но лезть в темноту навстречу неизвестности? Карабкаться на подоконник, точно мальчишка-первокурсник, и красть, как грязный ворышка?

Я дотронулся до окна, кажется, даже попытался поднять его, но это было выше моих сил. Меня парализовало отвращение. Красть у вора, который убил Джэсона Сэндерса? Никогда! Я имею право знать то, что известно ему. Я имею это право! Видит бог, я вытряхну это из него! Встречусь лицом к лицу с этим напыщенным псом и избью... нет, убью его!

Помню, как я обежал угол дома, нажал кнопку звонка и стал до боли в ладонях колотить по дверной панели.

Свет. Голос Эджертона:

— Что такое? В чем дело?

— Скорее! Человек ранен... Автомобильная катастрофа! — вопил я.

Эджертон отворил дверь, я ворвался в нее и стал отталкивать Эджертона в холл, требуя:

— Мне нужно все, что у вас есть о Джэсоне Сэндерсе!

Тут я заметил у него в руке револьвер. Боюсь, что я повредил ему руку... Потому, усаживая его на стул в кабинете, я сказал:

— Откуда вы взяли ваши данные? Где умер Сэндерс?

— Ах, вы, наверное, тот идиот, на совести которого лежит возвеличение Сэндерса? — задыхаясь, проговорил он.

— Желаете вы выслушать меня? Я убью вас, если вы не отдадите мне то, что я хочу, и немедленно!

— Что-о?! Берегитесь!..

Дальше я не помню. Как ни странно, всякий раз, когда я вспоминаю этот разговор, у меня начинает болеть голова. Наверно, я ударил Эджертон, хотя он был, конечно, крупнее и упитаннее меня. Но я и сейчас слышу его визгливый крик:

— Это насилие! Вы сумасшедший! Но если вы так настаиваете, так знайте, что я получил все сведения о Сэндерсе от Питера Уильямса, священника в Иенси, Колорадо!

— Покажите мне его письма.

— Разве это необходимо?

— Уж не думаете ли вы, что я поверю вам на слово?

— Ну, хорошо. У меня здесь только одно письмо, другие хранятся в сейфе. Уильямс впервые написал мне, когда прочел мое письмо с критикой ваших статей. Он сообщил достаточно много подробностей. Видимо, у него есть основательные причины ненавидеть самую память о Сэндерсе. Вот последнее его послание — несколько новых фактов о замечательной поэтической карьере Сэндерса.

С первого же взгляда я увидел, что это такое. На листке, протянутом мне Эджертоном, был неискусно отпечатанный заголовок: «Преподобный Питер Уильямс. Религиозное братство Репувелистов, Иенси, Колорадо». А одна из фраз текста гласила следующее: «Еще до этого поведение Сэндерса с женщинами было непристойным. Оно подлежит самому суровому осуждению...»

Так вот где была змея! Эджертон значит только носитель ее яда...

Я покинул Эджертона. На прощание он сказал мне глупость, которая показывает, что его возбуждение в этот момент было не меньшим, чем мое:

— Прощайте, лейтенант Сэндек!

Я был уверен, что меня арестуют по его требованию, как только я вернусь в гостиницу, хотя бы только для того, чтобы собрать вещи. Я тут же решил бросить мой багаж и поскорее покинуть город. К счастью, со мной не было ни моего хорошего костюма, ни чемодана, подаренного мне Куинтой.

Пройдя боковыми улицами, я поспешно зашагал по железнодорожному полотну, радуясь, что при мне есть электрический фонарик, казавшийся таким абсурдным под окном кабинета Эджертона.

Я сел на насыпь. Как сейчас помню остроту неровных кусков шлака и щебня и вижу замшелую кучу гнилых бревен, на которые падал молочный свет моего фонаря, когда я включил его, чтобы прочесть письмо Питера Уильямса. Оно было все-таки каким-то ключом.

Питер Уильямс! Так ведь звали также того сына преподоб-

ного Абнера Уильямса из Кеннута, которого так часто колол Джэсон. Жаль, что мало! Преподобный Абнер отлучил Джэсона от своего молитвенного дома. Все это, естественно, родило вражду между Джэсоном и Уильямсами. Могли быть и другие причины, например, соперничество в отношении какой-нибудь девушки.

Письмо преподобного Уильямса было написано на машинке. Такой современный способ письма у деревенского священника указывал на то, что это человек лет сорока, не больше. Разве не логично было предположить, что Питер Уильямс из Колорадо может быть внуком Питера Уильямса из Кеннута? Он мог бы тогда использовать сведения, с давних пор имевшиеся в распоряжении семейства Уильямсов, для того чтобы загубить Джэсона, врага своего деда.

Перед рассветом я уже ехал в товаро-пассажирском поезде, а на следующий день после полудня прибыл в Иенси, Колорадо.

Я разыскал дом приходского священника его преподобия Питера Уильямса. Это был маленький выкрашенный коричневой краской коттедж на склоне холма. Я приблизился к нему, накаленный яростью, и постучал в дверь. Мне отворила удивленная девица тевтонского типа. Я спросил, могу ли видеть мистера Уильямса, и меня провели в его простой деревенский кабинет. Я увидел там не сорокалетнего человека, как предполагал, судя по письму, а поразительно старого, даже древнего священника, крепкого, как бизон, с огромной пышной белой бородой. Он сидел у камина в глубоком кресле-качалке.

— Ну? — произнес он.

— Вы преподобный Питер Уильямс?

— Да, это так.

— Разрешите мне сесть?

— Можете.

Я спокойно уселся на небольшой простой стул. Моя ярость укрепилась сознанием, что мне придется иметь дело не с каким-то внуком противника Джэсона, а



с самым подлинным, настоящим Питером Уильямсом. Я видел перед собой того, кто имел честь ощущать на себе кулаки Джэсона Сэндерса. Это была драгоценная змея, и ее следовало обойти хитростью. Я начал очень почтительно:

— Мне говорили... Я однажды проводил лето на мысе Код...

— Кто вы такой, молодой человек?

— Смит. Уильям Смит, Коммивояжер.

— Ну-ну. Допустим.

— Мне говорили, что вы родом с мыса Код... из Кеннуита.

— Кто это говорил?

— Я, право, сейчас не припомню...

— Ну, и что же из этого следует?

— Я просто подумал, не сын ли вы его преподобия Абнера Уильямса, который был священником в Кеннуите много лет назад, в сороковых годах прошлого века.

— Да, я духовный сын этого священнослужителя.

Осторожно, очень осторожно, прикидываясь почти благоговейно настроенным, я продолжал:

— Тогда вы, наверно, знали человека, о котором мне довелось читать... этого Джэсона... как его?.. Сэндвич, кажется.

— Джэсон Сэндерс. Да, сэр, я хорошо его знал, слишком хорошо. Большого негодяя еще не было на свете. Пьяница, злобный человек, слепо отвергавший всякую духовную благодать. В нем было все то, что я усердно стараюсь искоренять.

Голос Уильямса звучал торжественно, как проповедь в соборе. Я ненавидел его, но это и на меня произвело впечатление. Я сделал еще попытку:

— Меня часто удивляет одна вещь. Говорят, что этот Сэндерс не умер в Греции. Интересно, где и когда он умер.

Старик засмеялся. Он щурил на меня глаза и весь трясся от смеха.

— Вы чудак, но у вас есть выдержка. Я знаю, кто вы. Эджертон телеграфировал мне о том, что вы едете сюда. Итак, вам нравится Джэсон? А?

— Да, он мне нравится!

— Я же говорю вам, что он был вор, пьяница...

— А я говорю вам, что он был гений!

— И это вы говорите мне? Хм!

— Послушайте, что у вас за причина так преследовать Джэсона? Ведь не только же ваши мальчишеские драки? И каким образом вы узнали, что было с ним после того, как он покинул Кеннуит?

Старик взглянул на меня так, как будто я был какой-то букашкой. Он ответил мне медленно, растягивая слова, словно для того, чтобы испытать мое терпение, настолько неистовое, что от него ощущался холод в спине и спазмы в желудке.

— Я знаю все потому, что в его тюрьме... — Он умолк и зевнул, потом потер себе подбородок... — В его камере я боролся с владевшим им злым духом.

— И победили?  
— Да.  
— Ну, а потом. Где же он умер? — спросил я.  
— Он не умер.  
— Вы хотите сказать, что Джэсон Сэндерс еще жив? Через шестьдесят лет после...

— Ему девяносто пять лет. Видите ли... я... до того, как я переименовал свое имя на имя Уильямса... я был... Я и есть Джэсон Сэндерс, — сказал старик.

И тогда, преодолевая расстояние в две тысячи миль, пешком по деревенской улице, товаро-пассажирским и скорым поездами, сидя неподвижно в купе и молча в отделении для курящих, я помчался домой, чтобы найти освежительное утешение возле Куинты Гейтс.

Перевод с английского  
М. А. КОПЕЛЯНСКОЙ  
и А. Д. ШАПОШНИКОВОЙ



На первой странице  
обложки рисунок П. ПАВ-  
ЛИНОВА к рассказу Ю. ТАР-  
СКОГО «ДУЭЛЬ»

На второй странице  
обложки рисунок Ю. МА-  
КАРОВА к повести О. ЛАРИО-  
НОВОЙ «ВАХТА «АРА-  
МИСА»

На третьей странице  
обложки фотокомпозиция  
А. ГУСЕВА «НА ДАЛЕКОЙ  
ПЛАНЕТЕ»

---

Редакционная коллегия: А. Г. АДАМОВ, А. П. ДНЕП-  
РОВ, А. П. КАЗАНЦЕВ, Н. И. КОРОТЕЕВ, А. А. НОДИЯ,  
В. С. САПАРИН, Н. В. ТОМАН, В. М. ЧИЧКОВ.

Художественный редактор Г. КОВАНОВ.

---

Рукописи не возвращаются.  
Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».  
Адрес редакции: Москва, А-30, Сущевская, 21. Тел. Д 1-15-00,  
доб. 4-10.

---

А13369. Подп. к печ. 7/IV 1966 г. Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печ. л. 5 (8,2).  
Уч.-изд. л. 10,5. Тираж 300 000 экз. Цена 20 коп. Заказ 289.

---

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия».  
Москва, А-30, Сущевская, 21.



Журнал основан в 1861 году.

Научно-художественный  
ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ  
путешествий, приключений и фантастики

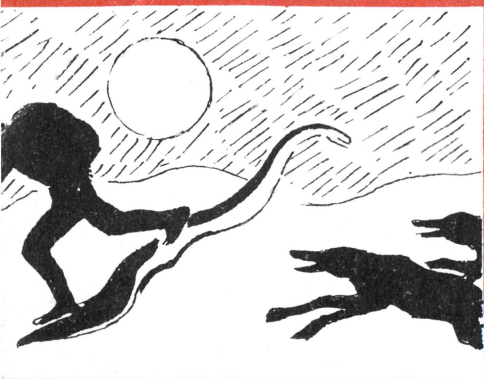
Подписка на журнал «Вокруг света» на второе полугодие 1966 года принимается общественными распространителями печати по месту работы, районными отделениями «Союзпечати» и отделениями связи [почтовыми отделениями] до 1 июня.

После 1 июня можно подписаться только на остающиеся месяцы, начиная с августовского номера.



Цена 20 коп.

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:



«И тут Кливи допустил ошибку. Помимо своей воли, он повернулся и опрометью понесся прочь...»

«ЗАПАХ МЫСЛИ» — фантастический рассказ американского писателя Роберта ШЕКЛИ.

«Затем наступило короткое молчание. Японец вертел в руках провод. Джойс подкрался сзади...»

«МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КВАЙ» — главы из романа французского писателя Пьера БУЛЯ.



ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ФАНТАСТИКА